Бернард Шоу

ГОРЬКО, НО ПРАВДА

Политический гротеск

1931

Перевод - Вера Максимовна Топер

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Вечер. Роскошная спальня в роскошной вилле на окраине богатого английского города. На кровати спит очень бледная молодая леди. У изголовья — столик, на нем пузырек с лекарством, мензурка, коробочка с пилюлями, термометр в стакане с водой, недочитанная книга, заложенная носовым платочком, пуховка, ручное зеркало и груша электрического звонка на шнуре. Судя по всему, молодая леди — прикованная к постели больная. Обстановку спальни составляют: изящный туалетный стол, на нем щетки с серебряными ручками и другие туалетные принадлежности, пестрая подушечка для булавок, подставка для колец и открытый ящичек из черной стали, через край которого свешивается небрежно брошенная нитка жемчуга; письменный стол в стиле Людовика XV с чернильницей, пресс-папье и бюваром; монументальный гардероб, нарядная кушетка, высокая китайская ширма и роскошный ковер. Все убранство комнаты указывает на то, что владелица ее располагает достаточными средствами, чтобы покупать самые дорогие вещи в самых дорогих магазинах, рассчитанных на вкус самого богатого покупателя.

Кровать выдвинута почти на середину комнаты, чтобы сиделка могла свободно проходить между ее спинкой и стеной; ступни больной обращены прямо на нас; дверь (снизу плотно заделанная мешочками с песком, чтобы ни одно дуновение свежего воздуха не проникло в щель) находится в стене справа; кушетка — у той же стены, в глубине комнаты; окно (задернутые занавески и спущенная темно-зеленая штора не пропускают ни проблеска лунного света) — в середине левой стены; справа от окна стоит гардероб, слева — письменный стол, ширма — под прямым углом к гардеробу, туалетный стол у стены, против нас, между кроватью и кушеткой. Кроме кресла перед письменным столом есть еще кресло возле ночного столика и два стула по сторонам туалетного стола. Электрическая арматура состоит из лампочек, скрытых за карнизом, двух лампочек на туалетном столике и лампы на письменном столе. Сейчас свет выключен; комната освещена только лампой на ночном столике, тщательно затененной зеленым абажуром.

Бальная погружена в тяжелый сон. Возле нее, в кресле, сидит Чудовище. Ростом и очертаниями оно напоминает человека, но тело его представляет собой прозрачную желеобразную массу; виден черный пунктир скелета. Чудовище сидит согнувшись, подперев голову руками, и, по-видимому, чувствует себя отвратительно.

Чудовище. Ох-ох-ох! Как мне скверно! Как мне тошно! Ох, хоть бы умереть скорей! Почему она не умирает, избавила бы меня от мучений. Какое право она имеет болеть и мучить меня своей болезнью? Корь — вот чем она больна. Корь. И меня заразила, бедного невинного микроба, который не сделал ей ничего дурного. А она говорит, что это я ее заразил. Ох! Справедливо ли это? Ох, как мне плохо! Хотел бы я знать, какая у меня температура,— у нее полчаса назад вынули градусник из-под языка. (Оглядывает столик и находит термометр в стакане с водой.) Вот градусник; его не стряхнули — чтобы доктор посмотрел сам. Если температура выше ста, я погиб. Даже боюсь посмотреть. Неужели я умираю? Надо взглянуть. (Смотрит и со стоном опускает термометр в стакан.) Сто три! Все кончено! (В изнеможении падает в кресло.)

Дверь открывается: входят пожилая леди и молодой врач. Леди, преисполненная тревоги за больную, на цыпочках подходит к постели. Врач невозмутим, но старается держать себя, как полагается в комнате тяжелобольной, хотя, в отличие от своей спутницы, явно не считает случай столь серьезным. Пожилая леди подходит к кровати с левой стороны. Врач подходит справа и наклоняется над больной.

Пожилая леди (шепотом, способным разбудить мертвого). Она спит.

Чудовище. Еще бы! Этот дуралей доктор закатил ей такую дозу модного снотворного, что петух в майское утро проспал бы до обеда.

Пожилая леди. Ах, доктор, скажите, есть какая-нибудь надежда? Перенесет она это новое страшное осложнение? Чудовище. Корь! А он решил, что это грипп. Пожилая леди. И так неожиданно! Я просто в отчаянии!

А как я ее берегла! Она мое единственное оставшееся в живых дитя. Моя любимица, мое сокровище. Почему все мои дети умирают? А я ведь следила за малейшим недомоганием. Моя дочь с самого рождения находилась под постоянным наблюдением врачей.

Чудовище. У нее лошадиное здоровье, а то бы она тоже давно умерла.

Пожилая леди. Ах, доктор, дорогой, как вы думаете? Конечно, вам лучше знать, но я так беспокоюсь. Не прописать ли ей новое лекарство? Я столько надежд возлагала на последнюю микстуру, но ведь от нее она заболела корью.

Врач. Дорогая миссис Мопли, могу вас заверить, что микстура не имеет никакого отношения к кори. Это очень слабое тоническое средство…

Чудовище. Стрихнин!

Врач. Я давал его, чтобы поддержать силы больной.

Пожилая леди. Но после этого она заболела корью.

Врач. Это инфекция. Бактерия… понимаете ли, микроб.

Чудовище. То есть я! Вали все на меня!

Пожилая леди. Но как он попал сюда? Я ведь плотно закрываю окна, а дверь завешена простыней, намоченной в карболке.

Чудовище (в слезах). Ни глотка свежего воздуха! Дышать нечем!

Врач. Кто его знает! Он, может быть, скрывался здесь с тех пор, как строили этот дом. Неизвестно. Но вы не волнуйтесь. Ничего серьезного нет. Форма очень легкая, скорей краснуха, чем корь. Положитесь на меня, мы ее выходим.

Пожилая леди. Просто утешение слушать вас, доктор! Чем я отблагодарю вас за все, что вы для нас сделали?

Врач. О, это долг врача. Делаю, что могу.

Пожилая леди. Да, конечно. Но есть ужасные врачи. Хотя бы этот доктор в Фокстоне — совершенно невозможный человек. Он откинул занавеску и впустил в комнату ослепительный солнечный свет, хотя она не выносит его без зеленых очков. Распахнул окно и впустил холодный утренний воздух. Я сказала ему, что он убийца! И как вы думаете, что он мне ответил? «Одну гинею, пожалуйста». Я уверена, что это он впустил микроба.

Врач. Три месяца тому назад! Нет, это не то.

Пожилая леди. Так как же это могло случиться? Скажите, вы наверное знаете, что не нужно нового лекарства?

Врач. Так я ведь уже прописал новое лекарство.

Чудовище. Три раза прописывал!

Пожилая леди. Знаю, знаю, доктор, вы очень внимательны. Но ведь оно не помогло, напротив, ей стало хуже.

Врач. Но, дорогая миссис Мопли, она же заболела корью. Мое лекарство тут ни при чем.

Пожилая леди. О конечно! Я ни минуты не сомневаюсь, что все, что вы делаете, к лучшему. Но все-таки…

Врач. Ну, хорошо, хорошо, сейчас напишу рецепт.

Пожилая леди. Ах, благодарю, благодарю вас! Я так и знала, что вы согласитесь. Новое лекарство, знаете ли, иногда творит чудеса.

Врач. Я считаю, что, когда она поправится, перемена воздуха…

Пожилая леди. Нет, нет, и не говорите! Она должна быть там, где есть врач, хорошо знающий ее организм. Покойный доктор Ньюленд знал ее с самого рождения.

Врач. К сожалению, Ньюленд умер.

Пожилая леди. Да, но его практика перешла к вам. Я не буду знать ни минуты покоя, если вас не будет поблизости. Вы уговорили меня увезти ее в Фокстон. А что из этого вышло? Нет, нет, ни за что!

Врач. Ну, как хотите. (Покорно пожимает плечами и подходит к ночному столику.) А как температура?

Пожилая леди. Дневная сиделка измеряла. Я не решилась посмотреть.

Врач (смотрит на термометр). Гм!

Пожилая леди (дрожа). Что, поднялась? Ах, доктор!

Врач (торопливо сбивал ртуть). Нет, нет, ничего. Почти нормальная.

Чудовище. Врет и не краснеет!

Пожилая леди. Какое счастье!

Врач. Все же будьте осторожны. Не думайте, что она уже здорова. Не спускайте ее с постели. Малейшая простуда может оказаться роковой.

Пожилая леди. Доктор, скажите мне, вы ничего от меня не скрываете? Почему она всегда болеет, несмотря на то, что я истратила целое состояние на ее лечение? Тут должна быть какая-нибудь глубокая, серьезная причина. Скажите мне все, не щадите меня. Я всю жизнь боялась этого. Может быть, мне следовало сразу сказать вам всю правду, но я не могла решиться. Дело в том, что отчим ее дяди умер от расширения сердца. У нее то же самое?

Врач. Господи боже мой, конечно нет! Что вам пришло в голову9

Пожилая леди. Но ведь у нее и раньше бывала сыпь. Чудовище. Прыщи! Объедалась шоколадными конфетами.

Врач. Пустяки. Легкое нарушение обмена веществ. С этим мы справимся.

Пожилая леди. А вы уверены, что легкие не задеты?

Врач. Дорогая миссис Мопли, ее легким позавидовала бы морская чайка.

Пожилая леди. Тогда, значит, это сердце. Не обманывайте меня. У нее перебои. А вчера она мне сказала, что, когда эта противная сиделка ей нагрубила, сердце у нее остановилось на пять минут.

Врач. Глупости! Если бы сердце остановилось хоть на пять секунд, она бы умерла. Все органы у нее в порядке. Просто хрупкий организм, вот и все. Мы дадим ей усиленное питание. Побольше хорошего свежего мяса, полбутылки шампанского к завтраку, стакан портвейна к обеду — и она станет другим человеком. Основательный бифштекс, слегка недожаренный, в некоторых случаях прекрасно помогает.

Чудовище. Я умру от несварения желудка. Но и она умрет. Это все-таки утешение.

Врач. Вы не волнуйтесь из-за кори. Уверяю вас, форма очень легкая.

Пожилая леди. О, вы меня не знаете. Я никогда не волнуюсь по пустякам. Вы не забудете про рецепт?

Врач. Сейчас напишу. (Достает перо, блокнот и садится за письменный стол.)

Пожилая леди. Благодарю вас. А я пойду взглянуть, где эта новая сиделка пропадает. Наверно, никак не кончит чай пить. (Подходит к двери, берется за ручку, потом останавливается в нерешительности и возвращается.) Доктор, я знаю, вы не верите в прививки. Но мне все-таки кажется, что ей нужно сделать прививку. Это очень помогает.

Врач (теряет терпение). Дорогая миссис Мопли, никогда я не говорил, что не верю в прививки. Но какой смысл делать прививку, когда больная и так заражена?

Пожилая леди. Я на себе испытала, как это полезно. Мне сделали прививку от гриппа три года назад, и с тех пор я болела только четыре раза. А сестра моя болеет каждую весну. Пожалуйста, ради меня, сделайте ей прививку. Я так боюсь, что мы что-нибудь упустим в ее лечении.

Врач. Ну хорошо. Я подумаю. Она получит и новую микстуру и прививку. Это вас успокоит?

Пожилая леди. Благодарю вас, благодарю. Вы просто камень сняли с моей души. Я уверена, что это ей очень поможет. А теперь извините меня на минутку, я пойду позову сиделку. (Выходит.)

Врач. Вот надоедливая баба!

Чудовище (встает и подходит к врачу сзади). Что верно, то верно.

Врач (изумленно оглядывается). Что? Кто здесь?

Чудовище. Никого нет, кроме меня и больной. А вы вкатили ей такую дозу снотворного, что она и через десять часов не заговорит. Когда-нибудь это плохо кончится.

Врач. Ерунда! Она думала, что принимает снотворное, а на самом деле это просто аспирин в растворе эфира. Но с кем я разговариваю? Пьян я, что ли?

Чудовище. Вовсе нет.

Врач. Так кто вы такой? Или что вы такое? И где вы? Что это, фокус?

Чудовище. Я только несчастный, больной микроб.

Врач. Больной микроб?

Чудовище. Да. Вам, вероятно, никогда не приходило в голову, что и микроб может заболеть.

Врач. А чем вы больны?

Чудовище. Корью.

Врач. Вздор! Микроб кори еще не открыт. Если есть такой микроб, так это не корь, а паракорь.

Чудовище. Господи боже ты мой! Что это такое — паракорь?

Врач. Паракорь так похожа на корь, что отличить невозможно.

Чудовище. Если микроба кори не существует, почему вы сказали старухе, что ее дочь заразилась корью от микроба?

Врач. Теперь все пациенты помешались на микробах. Скажи я, что микроба кори нет, она перестала бы мне верить, и я потерял бы пациентку. В тех случаях, когда микроба нет, я его выдумываю. Так, значит, вы и есть неоткрытый микроб кори и вы заразили мою пациентку?

Чудовище. Нет. Она заразила меня. Эти твари, называемые людьми, носят в себе столько отвратительных болезней! Они заражают ими нас, бедных микробов. А вы, врачи, утверждаете, что это мы заражаем их. Я бы всем врачам запретил практиковать.

Врач. Нам и запретили бы, если бы мы заговорили, как вы. Чудовище. Ох, как мне скверно! Пожалуйста, вылечите меня от кори.

Врач. Не могу. Я ни от одной болезни вылечить не могу. Я только тем и спасаюсь, что пациенты сами вылечиваются. Когда она выздоровеет — и вы будете здоровы.

Чудовище. Она не может выздороветь, потому что и вы и ее мать точно сговорились погубить ее. Ни глотка свежего воздуха. От природы она здорова, как носорог. К черту ваши микстуры и прививки! Выбросьте все это и лечите ее внушением, верой, как христианские медики.

Врач. Я так и делаю. Неужели вы думаете, что я верю в микстуры? Но мои пациенты верят — и вылечиваются.

Чудовище. Шарлатан — вот вы кто.

Врач. Вера и держится шарлатанством, но она помогает.

Чудовище. Так зачем же вы называете это наукой?

Врач. Потому что люди верят в науку. И христианские медики называют свое знахарство наукой.

Чудовище. Христианские медики предоставляют своим пациентам вылечиваться самим. Почему вы этого не делаете?

Врач. Я именно это и делаю. Но я им помогаю. Понимаете, гораздо легче верить в микстуры и прививки, чем в самого себя и в таинственную силу, которая дает нам жизнь и о которой никто ничего не знает. Люди верят в микстуры, и они совершенно растерялись бы, заговори вы с ними начистоту. Значит, в микстурах все дело. Мои пациенты почти всегда выздоравливают. За исключением тех случаев, когда им пора помирать. А это никого не минует.

Чудовище. В ее-то годы! Вовсе ей не пора помирать, но вы ее замучаете до смерти. Уверяю вас, она может вылечиться сама и меня вылечить, только оставьте ее в покое.

Врач. А я вас уверяю, что ей это будет очень трудно. Зачем ей утруждать себя, когда она может заплатить за то, чтобы вместо нее трудились другие? Не чистит же она свои ботинки и не моет полы. Она платит деньги, и кто- то делает это за нее. Зачем ей самой вылечиваться, что гораздо труднее, чем чистить ботинки или мыть пол, когда она может заплатить доктору? Это выгодно и ей и мне. Простая логика, мой друг. А теперь, с вашего разрешения, я удеру отсюда, пока не вернулась старуха и не ввела меня в соблазн свернуть ей шею. (Встает.) Помяните мое слово: когда-нибудь кто-нибудь стукнет ее по голове. Не врач, а кто-нибудь, кто может себе это позволить. Меня она уже свела с ума: я даже слышу голоса и разговариваю с ними. (Выходит.)

Чудовище. Напротив, дурень, ты разумнее многих своих коллег. Они воображают, что ключи жизни и смерти у меня в кармане. А у меня нет ничего, кроме отчаянной головной боли. О господи, господи!

Чудовище медленно уходит за ширму. Больная, оставшись одна, начинает шевелиться. Она поворачивается на другой бок и капризным тоном зовет.

Больная. Сестра! Мама! Что же это, никого нет? (Плачет.) Эгоисты! Звери! Все меня бросили. (Сердито хватается за грушу звонка, висящую возле ее правой руки, и несколько раз нажимает кнопку.)

Пожилая леди и сиделка вбегают в комнату. Сиделка молода, проворна, энергична и очень недурна собой Миссис Мопли подходит к ночному столику, сиделка подходит к больной справа от кровати.

Пожилая леди. Что такое, деточка? Ты проснулась? Снотворное не действует? Тебе хуже? Что с тобой? А где же доктор?

Больная. Мне ужасно скверно. Я тут лежу целую вечность, звоню и звоню, и никто не идет. Никому нет дела, жива я или умерла.

Пожилая леди. Ну как можно так говорить, деточка! Здесь же оставался доктор. Я вышла только на минуточку. Мне нужно было сговориться с новой сиделкой и дать ей указания. Вот она. И, ради бога, прикрой плечо, деточка. Ты простудишься, и тогда все пропало. Сестра, смотрите, чтобы она всегда была укрыта. Как вы думаете, не положить ли грелку к плечу, чтобы согреть его? Оно очень холодное, дет очка?

Больная (раздраженно). Как лед. t

Пожилая леди. Да что ты? А кругом только и слышишь что о воспалении легких. Какая досада, что доктор ушел. Он послушал бы твои легкие…

Сиделка (трогает плечо больной). Совсем теплое.

Больная (заливаясь слезами). Мама, убери эту противную женщину. Она хочет убить меня.

Пожилая леди. Да нет же, дорогая. У нее прекрасные рекомендации. Я сейчас не достану другой сиделки, уже поздно. Прошу тебя, ради меня постарайся не ссориться с ней. Потерпи до утра, пока придет дневная сиделка.

Сиделка. Давайте я поправлю постель и уложу вас поудоб­ней. Вы тут задохнетесь. Четыре тяжелых одеяла и пуховая перина! Не удивительно, что вы раздражены.

Больная (кричит). Не трогайте меня! Уходите! Вы меня убьете. Никому нет дела, жива я или умерла.

Пожилая леди. Ах, деточка, не говори так. Ты отлично знаешь, что это неправда. А мне так больно это слушать.

Сиделка. Не надо обращать внимания на слова больной, сударыня. Шли бы вы лучше спать, а я займусь больной. Вы совсем замучились. (Подходит к миссис Мопли и ласково, но твердо берет ее под руку.)

Пожилая леди. Это верно, что я измучена. Еле на ногах стою. Очень мило с вашей стороны, что вы это заметили! Но как я могу оставить ее в таком состоянии?

Сиделка. В комнате больной не должно быть лишних людей. Вы сами видите, как это раздражает и волнует ее.

Пожилая леди. Ах, вы совершенно правы. Доктор говорит, что ей необходим покой.

Сиделка (подводит ее к двери). А вам нужно хорошенько выспаться. Можете положиться на меня, я все сделаю, что нужно.

Пожилая леди (шепотом). Я, пожалуй, пойду. Какая вы добрая? Вы позовете меня, если что-нибудь?..

Сиделка. Ну конечно. Обещаю вам разбудить вас, если что-нибудь случится. Спокойной ночи, сударыня.

Пожилая леди (вполголоса). Спокойной ночи. (Выходит на цыпочках.)

Сиделка, оставшись одна с больной, словно забывает о ее присутствии. Она идет прямо к окну, отдергивает занавески и поднимает штору, отчего целый поток лунного света вливается в комнату; потом открывает окно. После этого она направляется к двери, где находится выключатель.

Больная (кутаясь в одеяло у. Что вы делаете? Закройте окно, спустите штору и задерните занавеси, слышите? Вы что, хотите убить меня?

Сиделка зажигает полный свет.

(Прикрывая глаза руками.) Ой, ой, не могу! Потушите свет!

Сиделка тушит свет.

Как вы невнимательны!

Сиделка опять зажигает свет.

Не надо, не надо. Глаза режет.

Сиделка тушит свет.

Нет, нет. До чего вы бестолковы! Оставьте немного света. Я хочу почитать. Лампочки слишком мало! Неужели вы сами не видите?

Сиделка опять зажигает свет и невозмутимо возвращается к постели.

Не понимаю, как можно быть такой невнимательной, такой бестолковой. Мне ужасно плохо. Закройте окно и потушите половину лампочек, слышите?

Сиделка грубо стаскивает с постели перину, рывком выдергивает из-под больной подушку и удобно располагается в кресле у постели.

Как вы смеете брать мою подушку? Что за наглость! Сиделка, сидя в кресле, вынимает из кармана страницу, вырезанную из иллюстрированного журнала, и начинает сосредоточенно изучать ее.

Что же, долго вы будете так сидеть и ничего не делать? Сейчас же закройте окно.

Сиделка (грубо). Ну вас, спите уж. (Снова погружается в изучение листка, который держит в руках.)

Больная. Не смейте так разговаривать со мной! Я просто не верю, что вы настоящая, опытная сиделка.

Сиделка (невозмутимо). Конечно нет. Я и за пять тысяч в год не пошла бы в сиделки. Но я знаю, как обращаться с такими, как вы, потому что я раз лежала в больнице, а там женщины часто скандалили, и я видела, как сиделки справляются с ними. Насмотрелась я там и кое-чему выучилась. (Вынимает из кармана бумажный пакетик и открывает его на ночном столике. В пакетике около полуфунта поваренной соли.) Вы знаете, что это такое и что с этим делают?

Больная. Это что, лекарство?

Сиделка. Да. Лекарство от криков, слез и капризов. Когда больная начинает беситься, она первым делом разевает рот, и тогда сиделка просто-напросто запихивает ей в рот горсть этого лекарства. Обыкновенная поваренная соль. Не орать, понятно?

Больная (решительно). Нет, не выйдет! (Тянется к звонку.)

Сиделка (проворно опережая ее). Нет, нет, выйдет! (Забрасывает шнур вместе со звонком за кровать.) Теперь нам никто не помешает. Никаких звонков. А если вы раскроете рот пошире, получите горсть соли. Ясно?

Больная. Вы думаете, здесь больница, а я несчастная больная, над которой можно издеваться как угодно? Вы знаете, что с вами будет завтра утром, когда придет мама?

Сиделка. Утром, дорогая, меня с собаками не сыщешь.

Больная. И вы хотите, чтобы я, тяжело больная, провела с вами ночь с глазу на глаз?

Сиделка. Вовсе не с глазу на глаз. Я кое-кого жду.

Больная. Кое-кого ждете?..

Сиделка. Моего друга. Я сказала ему, что он может зайти ко мне, если свет потухнет два раза.

Больная. Так вот почему…

Сиделка. Вот почему.

Больная. И вы спокойно заявляете, что сюда придет ваш приятель, и собираетесь любезничать с ним всю ночь у меня на глазах?

Сиделка. Вы можете спать.

Больная. И не подумаю! Придется вам вести себя прилично в моем присутствии.

Сиделка. Об этом не беспокойтесь. Он придет по делу. Он мой компаньон, а вовсе не кавалер.

Больная. А более подходящего места для ваших дел, чем моя комната, да еще среди ночи, у вас не нашлось?

Сиделка. Вы еще не знаете, какое у нас с ним дело. Это можно сделать только здесь и только ночью. Да вот и он, кажется.

В окно влезает вор, элегантно одетый, в резиновых перчатках и белой полумаске, закрывающей нос. Ему немногим больше тридцати лет, у него приятная наружность и необыкновенно благозвучный голос.

Вор. Все в порядке, Цыпка?

Сиделка. Все в порядке, Попси.

Вор бесшумно закрывает окно, задергивает занавеси; минуя сиделку, проходит к постели.

Вор. Черт, она не спит. Разве ты не дала ей снотворного?

Больная. Вы хотите, чтобы я спала, когда вы в моей комнате? Кто вы такой? И зачем вы нацепили маску?

Вор. Исключительно ради того, чтобы вы меня не узнали, если нам доведется встретиться еще раз.

Больная. Не имею ни малейшего желания встречаться с вами, поэтому можете спокойно снять маску.

Сиделка. Я ей не сказала, Попси, зачем мы пришли.

Больная. Я не знаю и знать не желаю, зачем вы пришли. Могу вам только сказать, что, если вы сейчас же не уйдете отсюда и не пришлете ко мне маму, я заражу вас корью.

Вор. Мы оба переболели ею, дорогая леди. Боюсь, что мы еще немного побеспокоим вас своим присутствием. (Сиделке.) Ты узнала, где?

Сиделка. Нет, не успела. Туалетный стол вон там. Пойди поищи.

Вор обходит кровать спереди и направляется к туалетному столу.

Больная. Что вам нужно на моем туалетном столе?

Вор. Очевидно, ваш знаменитый жемчуг.

Больная (срывается с постели, мощным прыжком достигает туалетного стола и грудью встает на защиту своего ожерелья). И не думайте!

Вор (подходит к ней). Разрешите, пожалуйста.

Больная. Получите! (Держась за край стола обеими руками, она поднимает ногу под прямым углом и сильным движением наносит ему сокрушительный удар в солнечное сплетение.)

С душераздирающим стоном он, скорчившись, падает на кровать и скатывается на ковер по другую сторону. Сиделка, обежав изголовье кровати, бросается на больную Больная хватает ее за ноги, приподнимает и швыряет. Сиделка с грохотом падает навзничь на кушетку. Больная тяжело переводит дух, шатается, спотыкаясь добирается до постели и валится на нее Сиделка, ошеломленная атлетической силой своей пациентки, но невредимая, вскакивает с кушетки.

Сиделка. Живо, Попси, свяжи ей ноги. Она в обмороке

Вор издает жалобный стон и переворачивается на живот.

Скорей, скорей, слышишь?

Вор (пытаясь встать). Ой! ой!

Сиделка (подбегает к нему и трясет его за плечи). Ну и дурак же ты, Попси. Помоги мне, пока она не очнулась. Я одна с ней не справлюсь.

Вор. Ой! Дай мне умереть.

Сиделка. Долго ты будешь здесь валяться? Не убила же она тебя.

Вор (пытается приподняться). Почти. Ох, Цыпка моя, почему ты мне сказала, что она беспомощная больная, когда это чемпион в тяжелом весе?

Сиделка. Молчи. Ищи жемчуг.

Вор (с трудом вставая). Что-то мне не хочется никакого жемчуга. Она мне под вздох попала. Очень сожалею, что оказался таким плохим помощником, но, Цыпочка моя, природа отнюдь не предназначала нас для карьеры взломщиков. Наша первая попытка безнадежно провалилась. Давай извинимся и уйдем.

Сиделка. Болван! Нельзя быть таким трусом. (Наклоняется над больной.) Слушай, Попси,—по-моему, она спит.

Вор. Пусть спит. Не пробуждай во львице гнев.

Сиделка. Идиот ты несчастный! Как ты не понимаешь, что мы можем связать ей ноги и заткнуть рот, пока она не проснулась, и унести жемчуг. Это проще простого, только нужно вместе и поскорей. Ну, давай.

Вор. Не обольщайся, душа моя. Это так же легко, как доставить самку гориллы в зоологический сад. Нет, не стану я красть этого жемчуга. Честность — лучшая политика. У меня возникла другая идея, еще более гениальная. Предоставь все мне. (Подходит к туалетному столу.)

Сиделка (идет за ним). Что ты опять выдумал, глупый?

Вор. Сейчас увидишь. (Вертит в руках ящичек.) Домашний сейф; открывается при помощи условной расстановки букв. Это такая же канитель, как набирать номер телефона, поэтому их никогда никто не запирает. Вот и жемчуг. Ах, черт? Если гут нет поддельных жемчужин, это должно стоить около двадцати тысяч фунтов. Ух! Вот кольцо с брильянтом — голубой, огромный. Если настоящий - стоит четыре тысячи фунтов. Цыпка, мы будем купаться в золоте до конца наших дней!

Сиделка. Какая нам польза от голубых брильянтов, если мы не украдем их?

Вор. Погоди, сейчас увидишь. Ступай садись в кресло и что есть сил изображай милую, ласковую сиделку.

Сиделка Но.

Вор. Делай что тебе говорят. Верь, верь в твоего Попси!

Сиделка (повинуясь). Ну, как знаешь. Ты просто рехнулся.

Вор. Никогда в жизни не поступал так здраво. Постой… Как она зовет своих домашних?.. У нее должен быть электрический звонок. Где же он?

Сиделка (поднимая звонок с пола). Вот. Я зашвырнула его подальше от нее.

Вор. Положи его на постель, возле ее руки.

Сиделка. Попси, ты спятил. Она…

Вор. Слушай, Цыпка, в нашей фирме — я голова, а ты — руки. На сей раз нам предстоит небывалый успех. Слушайся и не рассуждай.

Сиделка (сдаваясь). Пожалуйста! (Кладет грушу звонка, как велел вор.) Я умываю руки. (Надув губы, садится в кресло.)

Вор (подходя к постели). Кстати сказать, к роли спящей красавицы она мало подходит; у нее скверный цвет лица и дыхание далеко не благовонное. Но если выпустить ее на подножный корм, она может похорошеть. И если кулак у нее действует не хуже ноги, из нее выйдет незаменимый телохранитель для нас, слабосильных… при условии, что я уговорю ее присоединиться к нам.

Сиделка. Присоединиться к нам? Что это значит?

Вор. Ш-ш-ш. Потише. Надо разбудить ее осторожно. (Наклоняется к уху больной и шепчет.) Мисс Мопли.

Больная (протестующе бормочет). М-м-м.

Сиделка. Что она говорит?

Вор. Она говорит: «О, не буди меня, дыхание весны». (Обращаясь к больной, чуть громче.) Это не матушка ваша, мисс Мопли, это вор.

Больная угрожающе привстает.

(Падает на колени и поднимает руки.) Мисс Мопли, дорогая мисс Мопли! Я в вашей власти. Звонок на постели, у вас под рукой: посмотрите сами. Вам стоит только нажать кнопку, чтобы выдать меня вашей матушке и полиции…

Она хватается за звонок.

…и остаться убогой калекой до конца ваших дней.

Она нерешительно выпускает звонок из рук.

Не очень-то приятная перспектива, правда? Выслушайте меня. Я хочу сделать вам серьезное предложение. Примите его, и вы станете другим человеком; вы в корне измените свою судьбу. Ничто не мешает вам слушать меня в полном спокойствии: в любую минуту вы можете позвонить или выкинуть нас в окно, если вам это больше нравится. Я прошу только пять минут.

Больная (все еще воинственно и настороженно). Ну?

Вор (вставая с колен). Разрешите дать вам еще одно доказательство моего доверия. (Снимает маску.) Смотрите, можно ли бояться такого лица? Похож я на взломщика?

Больная (смягчаясь, почти добродушно). Нет, вы похожи на церковного служку.

Вор (несколько обиженный). Только не на церковного служку. Надеюсь, что я по крайней мере похож на приходского священника. Но вы необыкновенно проницательны: я в самом деле духовное лицо. Только, прошу вас, никому не открывайте этой тайны: мой отец атеист, и если он узнает, непременно лишит меня наследства. Посвящение мое совершилось тайно, когда я был в Оксфорде.

Больная. Боже, какая нелепость! Все это мне снится. Должно быть, новое снотворное действует. Но это восхитительно, потому что мне снится, что я совершенно здорова. Никогда в жизни мне не было так хорошо. Продолжайте, Попс, пусть длится мой сон. Самое замечательное в этом сне то, что я в вас влюблена. Красавец мой Попс, золото, радость моя, вы идеальный киногерой, только с манерами английского джентльмена. (Посылает ему воздушный поцелуй.)

Сиделка. Черт знает что такое!

Вор. Ш-ш-ш-ш! Не рассеивай чар.

Больная (с глубоким вздохом удовлетворения). Не надо будить меня. Я в раю. (Блаженно откидывается на подушку.) Продолжайте, Попс. Расскажите еще что-нибудь.

Вор. Отлично. (Придвигает стул от туалетного стола и удобно усаживается возле кровати.) Мы чудесно проведем ночь. Слушайте. Представьте себе изумительный июльский день. Шотландия. Суровые скалы отражаются в зеркальной глади озера, а на озере лодка… или, скажем, челн.

Больная (в экстазе). Челн! О Попси!

Вор. На корме сидит Цыпка, а я удобно разлегся, и голова моя покоится у нее на коленях.

Больная. Можете пропустить Цыпку, Попс. Ее любовные переживания меня не интересуют.

Вор. Вы ошибаетесь. Цыпкины мысли были далеко от меня. Она думала о вас.

Больная. Вот наглость! Это похоже на нее. А что она знает обо мне?

Вор. А вот что. Ее лилейная рука держала номер «Дамского журнала». Там помещено иллюстрированное описание ваших драгоценностей. Можете вы догадаться, что сказала мне Цыпка, зачарованная красотой заката, любуясь мягкой и величавой линией гор?

Больная. Могу. Она сказала: «Попси, мы должны спереть этот жемчуг».

Вор. Правильно. Слово в слово. А теперь догадайтесь, что я ответил.

Больная. Должно быть, вы сказали: «В самую точку, Цыпка» — или что-нибудь такое же вульгарное.

Вор. Ошибаетесь. Я сказал: «Если у этой девушки голова на плечах, она сама украдет жемчуг».

Больная. О-о! Это становится интересно. А как же я могу украсть свой собственный жемчуг?

Вор. Продайте его. А вырученные деньги прокутите. Узнайте жизнь! Жизнь! Лежать больной в постели — это не жизнь, правда?

Больная. Чем же это не жизнь? Я еще не умерла. Конечно, наяву я ужасно слабенькая…

Вор. Слабенькая!. Всего пять минут назад вы сшибли меня с ног и швырнули Цыпку через всю комнату. Если вы так умеете драться за нитку жемчуга, которую вам никогда не приходится надевать, почему не подраться за вольную жизнь, за свободу делать все, что вздумается, имея полные карманы денег, которые откроют вам доступ ко всем развлечениям необъятного мира. Черт возьми! Неужели вам не хочется быть молодой, красивой, дышать полной грудью, быть чемпионом тенниса, пользоваться всеми благами жизни, вместо того чтобы прозябать здесь и терпеть приставания вашей глупой матушки и врачей, которые кормятся ее глупостью? Где ваша совесть, что вы так постыдно растрачиваете божьи дары? Вы думаете, что пребываете в немощах? Неверно: вы пребываете во грехе. Продайте жемчуг и на вырученные деньги купите свое спасение.

Больная. Теперь я вижу, что вы действительно духовное лицо, Попс. Но я не знаю, как продать жемчуг.

Вор. А я знаю. Позвольте мне продать его для вас. Конечно, за приличные комиссионные.

Больная. Вот тут-то и загвоздка. Как доверить вам продажу жемчуга? А вдруг вы присвоите всю сумму?

Вор. Цыпка, у мисс Мопли задатки весьма деловой женщины. (Обращаясь к больной.) Рассудите, Мопс. Будем для краткости звать друг друга Мопс и Попс. Если я украду ваш жемчуг, мне придется продавать его как краденый, и моему покупателю будет отлично известно, что этот жемчуг я украл. Я буду рад, если удастся выручить за него четверть его стоимости. Если же я буду продавать открыто, как агент законного владельца, я получу его рыночную цену полностью. Деньги будут выплачены вам. А комиссионные вы мне заплатите, я вам доверяю. Мы с Цыпкой вполне удовольствуемся пятьюдесятью процентами.

Больная. Пятьдесят процентов! Ого!

Вор (с твердостью). Согласитесь, что мы заслужили эту сумму. Учтите нашу работу, риск, которому мы оба подвергаемся, и бесценное благо, которое вы приобретете: избавление от этого мерзкого дома. По рукам, Мопс?

Больная. Это баснословная цена. Но в мире грез щедрость ничего не стоит. Вы получите свои пятьдесят процентов Ваше счастье, что я сплю. Если я проснусь, мне никогда не уйти от моих родных и от моего общественного положения. Хорошо вам, преступникам, — вы можете делать все что угодно. Будь вы людьми моего круга, вы бы знали, как трудно не делать того, что делают все.

Вор. Простите, но, я думаю, вы будете лучше чувствовать себя с нами, если я сообщу, что мы именно люди вашего круга. Мой род, которым я отнюдь не кичусь, знатнее, чем ваш. Можете посмотреть в справочнике Бурка или Дебретта. Ваши предки наживали деньги торговлей. Мои предки жили на доходы со своих поместий или управляли британскими колониями. Цыпка стояла бы на высшей ступени общественной лестницы, если бы не то грустное обстоятельство, что ее родители, хоть и соединенные перед лицом господа, не удосужились сочетаться законным браком. По крайней мере, так она говорит.

Сиделка (сердито). Я говорю то, что есть. (Обращаясь к больной.) Мы с Попси ничуть не хуже тех, с кем вы водитесь.

Больная. Неправда, Цыпка. Вы просто продувная девчонка и жулик. Но вы меня забавляете. Будь вы настоящая леди, в вас не было бы ничего забавного: вы боялись бы вести себя не так, как подобает леди.

Вор. Правильно. Ну, признавайтесь: с нами веселей, чем с вашей дражайшей заботливой матушкой, вкупе с приходским священником и всей вашей любящей родней? Правда ведь? Ну конечно правда.

Больная. Меня возмущает, что вы двое, которым место в тюрьме, живете в свое удовольствие, а я, только потому, что я респектабельная леди, живу как в тюрьме.

Вор. Разве вам не хочется уйти с нами?

Больная (спокойно). Я и намерена уйти с вами. Я хочу выжать из моего сна все, что можно. Не забывайте, Попс, что я люблю вас. Весь мир перед нами. Вы с Цыпкой провели неделю в стране озер и гор за семь гиней, включая чаевые. А теперь вы проведете вечность с вашей Мопс в самом райском уголке земного шара, какой только удастся найти, и притом даром.

Сиделка. А я что же?

Больная. Вы будете моей компаньонкой.

Сиделка. Компаньонкой! Хватает у вас нахальства, нечего сказать.

Больная. Знаете что: вы будете графиней. Мы поедем за границу, там никто не догадается. У вас будет пышный иностранный титул: графиня Вальбриони. Соблазняет вас?

Сиделка. Черта с два! Уступаю вам эту честь.

Вор. Постой, Цыпка. У меня новая идея. Совершенно потрясающая. Давайте инсценируем похищение.

Сиделка. Что это значит «инсценируем похищение»?

Вор. Это очень просто. Мы похищаем Мопс. То есть мы прячем ее в горах Корсики, или Истрии, или Далмации; можно в Греции, Ливии,— где угодно, только подальше от Скотланд Ярда[1]. Мы прикинемся разбойниками. Любящая мать выложит пять тысяч, чтобы выкупить ее. Выкуп мы поделим пополам: пятьдесят процентов Мопс, двадцать пять тебе, двадцать пять мне. Слушайте, Мопс: вы реализуете стоимость не только своего жемчуга, но и собственной особы. Гениальный финансовый ход!

Больная (в волнении). Греция! Далмация! Похищение! Разбойники! Выкуп! (Слабеющим голосом.) Ах, не искушайте меня, безумцы: вы забыли про корь.

Чудовище неожиданно появляется из-за ширмы. Оно преобразилось: из распухшего, умирающего Калибана оно превратилось в цветущего Ариеля.

Чудовище (подхватывая последнюю реплику больной). Да и вы сами забыли. Никакой кори: потасовка из-за жемчуга вылечила вас и вылечила меня. Ха, ха! Я здоров, здоров, здоров! (Прыгает от радости и в конце концов, взобравшись на подушки, вползает в постель и ложится рядом с больной.)

Сиделка. Если вы могли выскочить из постели и расправиться с Попси и со мной, то вы можете одеться и бежать с нами. Только закутайтесь получше, нас ждет машина.

Вор. Это не опаснее отправки в больницу, Мопс. Боритесь за свободу. Вставайте! (Вдвоем они стаскивают ее с кровати.)

Больная. Я не умею одеваться без горничной.

Сиделка. А вы пробовали?

Вор. Даем вам пять минут. Если вы не будете готовы, мы уйдем без вас. (Смотрит на ручные часы.)

Больная бросается к шкафу и выхватывает меховое манто, шляпу, платье, комбинацию, пару чулок, черные шелковые трусики, туфли. Все это она швыряет на пол. Сиделка собирает большую часть вещей, остальные подбирает больная, и они вдвоем скрываются за ширмой. В это время вор выходит вперед, становится в ногах кровати и — не то аукционист, не то проповедник — начинает ораторствовать.

Меховое манто. Котик. Не очень модное, но сорок пять гиней стоит. Шляпа. Строгая и элегантная. Платье-костюм. Комбинация: шелк с шерстью. Настоящие шелковые чулки без стрелок. Трусики: последний крик моды! Туфли: каблуки не выше двух дюймов, но для ходьбы по горам не годятся. Какая тема для проповеди! Благовоспитанная девица восстала против респектабельной жизни. Алчущая душа покидает родной дом, о котором недаром сказано, что он для девушки — темница, а для женщины — каторга. Назойливая опека нежных родителей, неотвязные заботы домашнего священника о ее спасении и домашнего врача о ее здоровье; навязчивая любовь докучливых братьев и сестер; отвратительная привычка дальних родственников, претендующих на близость, называть ее по имени; ежеминутное вторжение в личную жизнь бестактными расспросами, где была и что делала; шепот за ее спиной относительно шансов на замужество; непрерывное поругание той священной ауры, которая всегда окружает живую душу, подобно тому, как нимб окружает головы святых на картинах. Против всех этих способов замучить ее до смерти в ней подымается, как кипящее молоко в кастрюле, сокровеннейшая, наивысшая жизнь и кричит: «Долой вас всех! Прочь, от меня! Ныне и впредь врата открыты для настоящей жизни, что бы она ни принесла! Ибо в чем смысл нашего мира случайностей, катастроф, порывов и побед, если это не арена для приключений непреходящей жизни? Тщетно уродуем мы наши улицы надписями, вещающими: осторожность превыше всего! Тщетно народы взывают: безопасность, безопасность, безопасность! Те, кто кричит об осторожности, никогда не переходят улицу. Государства, которые приносят жизнь в жертву безопасности, находят ее в могиле. Мой девиз: осторожность — последнее дело! И вперед, вперед, всегда впе…»

Сиделка (выходя из-за ширмы). Заткни фонтан, Попси: она готова.

Больная, в манто, в туфлях, задыхаясь, выходит следом за сиделкой и становится по левую руку вора.

Больная. Вот и я, Попс Один поцелуй, и я следую за вами.

Вор. Согласен. Ваш цвет лица еще оставляет желать многого, но (целуя ее) дыхание ваше сладостно, это дыхание свободы.

Чудовище. Что ее цвет лица! Посмотрите на мой!

Вор (выпуская больную и поворачиваясь к сиделке). Ты что-то сказала?

Сиделка. Нет. Поторапливайся, слышишь?

Вор. Это, должно быть, ваша матушка храпит, Мопс. Не скоро вы опять услышите эту мелодию. Пролейте слезу.

Больная. Ни единой. Будущее женщины не подле ее матери.

Сиделка. Если и вы начнете проповедовать, как Попси, то молочник придет раньше, чем мы уйдем отсюда. Не забудьте, мне еще нужно переодеться внизу. Попси, не бродит ли под окнами полисмен? Выгляни-ка. Осторожность превыше всего. (Торопливо выходит.)

Вор. На сей раз, в виде исключения, пусть будет так. (Подходит к окну.)

Больная. Глупый, полиция вас не тронет, если я заступлюсь. Это я рискую, что меня мама поймает.

Вор. Правильно. У вас, против всяких ожиданий, необыкновенно ясная голова. Дай бог, чтобы ваше похищение оказалось мне по зубам. Идем. (Выбегает из комнаты.)

Больная. А жемчуг забыл!!! Слава богу, он дурачок, очаровательный дурачок. Я буду вертеть им, как захочу. (Подбегает к туалетному столу, засовывает ожерелье в футляр и уходит, унося его с собой.)

Чудовище (садится в постели). Пьеса, собственно, на этом кончается. Но действующие лица будут подробно обсуждать ее еще целых два акта. Впрочем, все выходы из зала открыты. Спокойной ночи. (Закутывается в одеяло и засыпает.)

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Морской берег в гористой местности. Гряда песчаных дюн скрывает лежащую за ней равнину; видны только вершины далекого горного хребта. Деревянный барак с электрическим сигнальным рожком на стене говорит о том, что перед нами военный лагерь. Против барака — палатка-купальня из полосатого холста, у входа в нее — складной стул. Если смотреть со стороны берега, то барак приходится направо, а палатка налево. Финиковая пальма, растущая близ барака, отбрасывает длинную тень, ибо время — раннее утро.

В тени этой пальмы, в шезлонге, сидит полковник британской службы и мирно читает еженедельное приложение к газете «Таймс»; однако снаряжение его включает револьвер. Легкое плетеное кресло, предназначенное для посетителей, стоит тут же, возле барака. Хотя полковнику сильно за пятьдесят, он все еще строен, благообразен, подтянут — военный с головы до пят. Полностью его чин и звание гласят: полковник Толбойс, кавалер креста Виктории и ордена «За примерную службу». Эти отличия он получил, еще когда командовал ротой, и с тех пор не терялся. Мирное чтение газеты нарушает серия оглушит тельных взрывов, указывающих на то, что со стороны, противоположной бараку, приближается мощный мотоцикл с явно неисправным глушителем.

Толбойс. Черт подери, какой шум!

Незримый мотоциклист слезает с машины и быстро ведет ее, причем она издает невыносимый треск.

(Сердито.) Остановите мотоцикл, слышите?

Шум прекращается. Мотоциклист, поставив машину на место, сняв перчатки и очки, появляется из-за палатки и подходит к полковнику; в руке у него пакет.

Это весьма заурядного вида нижний чин в запыленной одежде; его обветренное лицо тоже в пыли и песке. Все остальное безупречно: мундир и обмотки надеты точно по форме; он отвечает быстро и без запинки. Но полковник, уже рассерженный шумом мотоцикла и вынужденным перерывом в чтении газеты, разглядывает его сурово и немилостиво, ибо в облике этого солдата есть какой-то необъяснимый, раздражающий изъян. На голове у него белый тропический шлем с покрывалом, которое сбоку производит впечатление незаправленного подола рубашки, а спереди похоже на вуаль, накинутую на кудрявую женскую головку, что уже никак не приличествует солдату. Сложен он как семнадцатилетний юноша, а удлиненный череп и веллингтоновский нос и подбородок он, видимо, позаимствовал у кого-то со специальной целью позлить полковника. К счастью для мотоциклиста, все эти недочеты не могут быть внесены в штрафной лист и переданы на рассмотрение военному прокурору, и это еще усугубляет досаду полковника. Мотоциклист, повидимому, отдает себе отчет, что его наружность производит странное впечатление: хотя свои ответы он отчеканивает с военной краткостью и точностью, неуловимая улыбка иногда придает его лицу ироническое выражение, словно он разыгрывает какую-то веселую шутку. Мотоциклист отдает честь, вручает полковнику пакет и вытягивается в струнку.

Тол б ой с (беря в руки пакет). Это что такое?

Мотоциклист. Меня посылали в горы с письмом к старшине туземной деревни, сэр. Это его ответ, сэр.

Толбойс. Первый раз слышу. Кто вас послал?

Мотоциклист. Полковник Саксби, сэр.

Толбойс. Полковник Саксби только что уехал в штаб, он серьезно заболел. Вместо него принял командование я, полковник Толбойс.

Мотоциклист. Это мне известно, сэр.

Толбойс. Так что же, это частное письмо, которое нужно переслать ему, или это официальная бумага?

Мотоциклист. Официальная бумага, сэр. Служебный документ, сэр. Можете распечатать.

Толбойс (поворачиваясь в шезлонге и с гневным сарказмом в упор глядя на мотоциклиста). Благодарю вас. (Окидывает его взглядом от башмаков до переносицы.) Ваша фамилия?

Мотоциклист. Слаб, сэр.

Толбойс (брезгливо). Как?

Мотоциклист. Слаб, сэр: эс, эл, а, бэ.

Толбойс с омерзением смотрит на него, затем вскрывает пакет. Пока он в недоумении разглядывает письмо, царит тягостное молчание.

Толбойс. На местном диалекте. Позовите переводчика.

Слаб. Там ничего важного нет, сэр. Письмо было послано только для того, чтобы поразить старшину.

Толбойс. Ах, вот как? Кто дал вам это поручение?

Слаб. Сержант, сэр.

Толбойс. Для передачи письма, адресованного полковником Саксби старшине туземной деревни, ему следовало выбрать кого-нибудь чином постарше и способного поразить. Что это ему вздумалось назначить вас?

Слаб. Я сам вызвался, сэр.

Толбойс. Вот как? Вы считаете себя способным поражать? Вы, вероятно, думаете, что за вас говорит престиж Британской империи?

Слаб. Нет, сэр. Но я знаю местность. И немного говорю на здешнем диалекте.

Толбойс. Блистательно! А почему при таких талантах вы даже не в чине капрала?

Слаб. Не имею соответствующего образования, сэр.

Толбойс. Неграмотный! И не стыдно вам?

Слаб. Нет, сэр.

Толбойс. Даже гордитесь этим, а?

Слаб. Ничего не поделаешь, сэр.

Толбойс. А каким образом вы узнали эту страну?

Слаб. До службы в армии я в некотором роде бродяжничал, сэр.

Толбойс. Ну, попадись мне сержант, который занес вас в список рекрутов, я показал бы ему. Вы позорите армию.

Слаб. Так точно, сэр.

Толбойс. Ступайте, пошлите ко мне переводчика. А сами не возвращайтесь. Не мозольте мне глаза.

Слаб (нерешительно). Э-э…

Толбойс (повелительно). Ну? Вы приказ слышали? Пришлите переводчика.

Слаб. Дело в том, полковник…

Толбойс (негодуя). Как вы смеете называть меня «полковник» и говорить мне, в чем дело! Выполняйте приказ и придержите язык.

Слаб. Слушаю сэр. Виноват, сэр. Переводчик — это я.

Толбойс вскакивает. Он, словно башня, высится над Слабом, который от этого кажется еще меньше ростом. Для вящей внушительности скрестив руки на груди, полковник готов разразиться уничтожающей отповедью, но вдруг опускает руки и с покорным вздохом снова садится.

Толбойс (устало и почти дружелюбно). Отлично. Если вы переводчик, то переведите мне это письмо. (Протягивает письмо.)

Слаб (не беря его). Не нужно, благодарю вас, сэр. Старшина не мог сочинить письмо, сэр. Пришлось мне это сделать за него.

Тол боне. Откуда вы знали, что писал полковник Саксби?

Слаб. Я прочел письмо старшине, сэр.

Толбойс. Он просил вас об этом?

Слаб. Так точно, сэр.

Толбойс. Он не имел права сообщать содержание такого письма нижнему чину. Он, должно быть, сам не понимал, что делает. Вы, вероятно, выдали себя за офицера? Ведь так?

Слаб. Для него это одно и то же, сэр. Он величал меня владыкой Западных островов.

Толбойс. Вас? Такую козявку? В письме же, вероятно, указано, что оно посылается через обыкновенного рядового, не имеющего никаких полномочий. Кто составил письмо?

Слаб. Полковой писарь, сэр.

Толбойс. Позовите его. Скажите, чтобы он захватил запись распоряжений полковника Саксби. Слышите? Перестаньте гримасничать. И пошевеливайтесь. Позовите полкового писаря.

Слаб. Дело в том…

Толбойс (грозно). Опять!!

Слаб. Виноват, сэр. Полковой писарь — это я.

Толбойс. Что? Так вы сами написали и письмо и ответ? Слаб. Так точно, сэр.

Толбойс. Значит, либо вы сейчас врете, либо соврали, когда сказали, что вы неграмотный. Так как же?

Слаб. Очевидно, я не способен выдержать экзамен, когда дело доходит до моего производства. Нервы, должно быть, сэр.

Толбойс. Нервы! Какие у солдата могут быть нервы? Вы хотите сказать, что вы плохой солдат и поэтому вас суют куда попало, подальше от военных действий?

Слаб. Так точно, сэр.

Толбойс. Надеюсь, в следующий раз, когда вас пошлют с письмом, вы попадете в руки разбойников, и надолго.

Слаб. Никаких разбойников нет, сэр.

Толбойс. Нет разбойников? Вы говорите, нет разбойников?

Слаб. Так точно, сэр.

Толбойс. Вы знакомы с воинским уставом?

Слаб. Я слышал, как его читали вслух, сэр.

Толбойс. Вы поняли, что там сказано?

Слаб. Думаю, что понял, сэр.

Толбойс. Вы думаете! Ну, так подумайте хорошенько. Вы служите в экспедиционном отряде, посланном для подавления деятельности разбойников этой местности и для спасения английской леди, за которую они требуют выкуп. Это-то вы знаете? Не думаете, а знаете, а?

Слаб. Так говорят, сэр.

Толбойс. И еще вы знаете, что, по уставу, каждый, кто, состоя в действующей армии, заведомо совершает поступок, могущий помешать успехам армии его величества или части таковой, подлежит смертной казни. Вы понимаете? Смертной казни.

Слаб. Так точно, сэр. Закон об армии, часть первая, раздел четвертый, параграф шестой. А может быть, вы имеете в виду раздел пятый, параграф пятый, сэр?

Толбойс. Вот как? Будьте так добры и процитируйте раздел пятый, параграф пятый.

Слаб. Слушаю, сэр. «Распространяет устные слухи, рассчитанные на то, чтобы вызвать необоснованную тревогу или уныние».

Толбойс. Счастье ваше, рядовой Слаб, что в законе ничего не сказано о нижних чинах, вызывающих уныние одним своим видом. Иначе ваша жизнь не стоила бы и ломаного гроша.

Слаб. Так точно, сэр. Прикажете зарегистрировать письмо и ответ с приложением перевода, сэр?

Толбойс (реет письмо па клочки). По вашей милости все это превратилось в буффонаду. Что сказал старшина?

Слаб. Он только сказал, что теперь здесь очень хорошие дороги, сэр. Круглый год оживленное автомобильное движение. Последний разбойник ушел на покой пятнадцать лет тому назад, ему сейчас девяносто лет.

Толбойс. Обычная ложь! Этот старшина в стачке с разбойниками. Сам, наверное, не без греха.

Слаб. Не думаю, сэр. Дело в том…

Толбойс. Опять «дело в том»!

Слаб. Виноват, сэр. Тот старый разбойник и есть старшина. Он послал вам в подарок барана и пять индеек.

Толбойс. Немедленно отправить обратно. Отвезите их на вашем мерзком мотоцикле. Объясните ему, что английские офицеры не азиаты, они не берут взяток у местных властей, в чьих владениях они обязаны восстановить порядок.

Слаб. Он этого не поймет, сэр. Он не поверит, что вы облечены властью, если вы не примете подарков. Да они еще и не прибыли.

Толбойс. Так вот, как только прибудут его гонцы, отправьте их обратно вместе с бараном и индейками и приложите записку о том, что преданностью и усердием можно завоевать мое расположение, но купить его нельзя.

Слаб. Они не посмеют вернуться обратно ни с подарками, ни с запиской. Они украдут барана и индеек и передадут дружеский привет от вас. Лучше оставьте себе мясо и птицу, сэр. Это будет приятное разнообразие после армейского рациона.

Толбойс. Рядовой Слаб!

Слаб. Слушаю, сэр.

Толбойс. Если когда-нибудь на вас возложат командование этой экспедицией, вы, разумеется, будете придерживаться своих убеждений и своих моральных принципов. А пока что будьте любезны повиноваться моим приказам и не прекословить.

Слаб. Слушаю, сэр. Виноват, сэр.

Слаб отдает честь, поворачивается на каблуках и сталкивается лицом к лицу с сиделкой, выходящей из палатки; на ней изумительный купальный костюм, поверх которого накинут пестрый шелковый халат. За нею следует больная в обличье туземной служанки; от ее прежнего болезненного вида не осталось и следа, могучая мускулатура обрисовывается под кожей, загорелой до цвета терракоты и лоснящейся от масла. Она костюмирована под «belle sauvaqe»[2]; на ней головной убор, парик, украшения из тех, что можно увидеть только в русском балете; в руках у нее зонтик и циновка.

Толбойс (галантно, вставая с шезлонга). A-а, дорогая графиня! Счастлив видеть вас! Как это мило, что вы пришли.

Графиня (протягивая ему кончики пальцев). Как делишки, полковник? Ужасно жарко, правда? (Говорит с каким-то нелепым акцентом, без разбору копируя всех лакеев-иностранцев, с которыми ей когда-либо приходилось работать.)

Толбойс. Садитесь, садитесь. (Берет шезлонг за спинку и пододвигает его графине.)

Графиня. Спасибо. (Сбрасывает с себя халат, который подхватывает больная, и, с элегантной небрежностью валившись в шезлонге, зовет.) Мистер Слаб. Мистер! Сла-а-аб!?

Слаб молодцевато поворачивается, подходит к ней и козыряет.

Мои туалеты наконец прибыли из Парижа. Если бы вы были так милы и доставили их как-нибудь в мое бунгало. Я, конечно, заплачу все, что нужно. И еще — можете вы получить мне деньги по аккредитиву? Триста фунтов, мне пока хватит.

Слаб (без тени смущения, невольно меняя солдатскую выправку на манеры джентльмена). Сколько ящиков, графиня?

Графиня. Боюсь, что шесть. Очень трудно будет?

Слаб. Понадобится верблюд.

Графиня. Хоть целый караван. Расходы — это пустяки. А как насчет аккредитива?

Слаб. Очень сожалею, графиня, но у меня при себе только двести фунтов. Остальные вы получите завтра. (Вручает ей пачку банкнот, она дает ему аккредитив.)

Графиня. Вы всегда все можете! Спасибо. Вы так любезны.

Толбойс (слушавший диалог между ними с возрастающим изумлением). Довольно! Ступайте!

Слаб вытягивается, отдает честь, поворачивается налево кругом и уходит беглым шагом.

Графиня, это очень нехорошо с вашей стороны.

Графиня. А что я сделала?

Толбойс. В военном лагере нельзя ни на минуту забывать о субординации. Мы стараемся не подчеркивать этого, но она всегда присутствует и всегда необходима. Этот человек — рядовой. Никакие взаимоотношения на равной ноге, даже намек на фамильярность с вашей стороны недопустимы.

Графиня. Но разве нельзя обращаться с ним как с человеком?

Толбойс. Ни в коем случае. Ваше желание естественно и говорит о вашем добром сердце; но обращаться с рядовым как с человеком — это пагубно для него же самого. Он забывается, слишком много себе позволяет. А в результате попадает в беду и дорого расплачивается за это, подвергаясь соответствующему дисциплинарному взысканию, которое учит его знать свое место. Я прошу вас быть особенно осмотрительной с этим Слабом. Он явно придурковат — носит с собой все свои деньги. Если вам еще случится с ним говорить, дайте ему почувствовать, что разговор с вами — это разговор между высоким начальством и очень низко стоящим подчиненным. Никогда не разрешайте ему заговаривать первым или называть вас иначе, как «миледи». Мы всегда будем рады помочь вам чем только можем, но вы должны обращаться за помощью ко мне.

Больная, в восторге от нахлобучки, которую получила Цыпка, кладет циновку и зонтик на песок и, ухмыляясь до ушей, ставит для полковника плетеное кресло справа от графини, потом сама садится на циновку и, обхватив руками колени вместе с зонтиком, прислушивается к их беседе, стараясь как можно больше походить на туземку.

Спасибо. (Садится.)

Графиня. Очень сожалею. Но когда я прошу не его, все только беспомощно разводят руками и говорят: «Вы бы обратились к Слабу».

Толбойс. Конечно, на него все взваливают, потому что у бедного парня не все дома. Итак, мы с вами условились : впредь вы будете обращаться ко мне, а не к Слабу.

Графиня. Непременно, полковник. Мне очень жаль, я вполне вас понимаю. Ну, я получила и головомойку и прощение, да?

Толбойс (благосклонно). У нас это называется выговор. Но вы, в сущности, ни в чем не виноваты. Я не имею никакого права выговаривать вам. Напротив, я виноват перед вами.

Графиня. Да ладно уж.

Больная предостерегающе кашляет.

(Торопливо.) Вульгарное выражение, правда, полковник? Но мне оно нравится.

Толбойс. Я не знал, что оно считается вульгарным. Очень выразительное!

Графиня. Конечно, ничего особенно вульгарного в нем нет. Но все-таки оно какое-то мещанское.

Больная стучит зонтиком по креслу графини. j

(Торопливо.) Есть какие-нибудь новости о разбойниках, полковник?

Толбойс. Никаких. Но матушка мисс Мопли совсем потеряла голову, бедняжка, — да и не удивительно! — и так-таки прислала мне выкуп: она умоляет внести его и освободить ее дочь. Она боится, что разбойники, при малейшем намеке на враждебные действия с моей стороны, отрежу^ девушке пальцы и будут присылать их один за другим, пока мы не уплатим выкупа; она даже предполагает, что они могут начать с ушей и изуродуют ее на всю жизнь. Конечно, такая возможность не исключена, подобные случаи бывали… И бедная леди с полным основанием указывает, что я не смогу вернуть ее дочери уши, если даже уничтожу всех разбойников до единого. А я, безусловно, так и сделаю. Пусть только посмеют тронуть английскую леди! Но я не могу потворствовать столь дерзкому преступлению.

Заговорщики обмениваются взглядами, полными ужаса.

Я известил леди Мопли радиограммой, что об уплате выкупа не может быть и речи, но что английское правительство предлагает значительное вознаграждение за информацию.

Графиня (в волнении вскакивает со стула). Фью-у! Вознаграждение сверх выкупа?

Больная с ожесточением тычет в нее зонтиком.

Толбойс (удивленно). Нет, вместо выкупа.

Графиня (опомнившись). Понятно… как это глупо с моей стороны! (Садится и продолжает в раздумье.) А если бы эта туземка могла разузнать что-нибудь, она получила бы вознаграждение?

Толбойс. Конечно, получила бы. А ведь это мысль, а? Графиня. Правда, полковник?

Толбойс. Кстати, графиня, я вчера видел троих людей, которые вас очень хорошо знают.

Больная (забывшись и стремительно приподнявшись на колени.) Но…

Графиня (хлопая ее рукой по губам). Молчи, ты! Как ты смеешь прерывать полковника? Садись на свое место и помалкивай.

Больная смиренно повинуется; пока полковник из деликатности смотрит в другую сторону, она грозит графине кулаком.

Толбойс. Среди них была одна леди. Я случайно назвал вашего брата; она вся просияла и говорит: «Милейший Обри Бэгот! Я очень дружна с его сестрой. Мы все трое вместе росли».

Графиня. Это, должно быть, милейшая Флоренс Дорчестер. Надеюсь, она сюда не явится? Мне нужен полный покой. Никого не хочу видеть… кроме вас, полковник.

Толбойс. Гм! Весьма польщен.

Из палатки выходит вор. На нем очень элегантный купальный костюм, черный в белую полоску, и черный шелковый халат с отворотами из белого шелка, — стиль клерикальный.

(Продолжает.) A-а, Бэгот! Купаться? Я сейчас говорил графине, что видел вчера ваших друзей. Подумать только, набрести на них здесь, в этой глуши! Как мир, в сущности, мал. (Встает.) А теперь я пойду осматривать склады. Наблюдается недостача хлопушек, что меня очень удивляет.

Графиня. Как жалко! Я очень люблю хлопушки: внутри такие вкусные конфеты!

Толбойс. Это не то, что вы думаете. Хлопушки — это ракеты. Они взрываются с громким шумом. Для сигнализации.

Графиня. А-а! Это такие штуки, которые пускали во время войны, когда были воздушные налеты?

Толбойс. Вот именно. Итак, au revoir[3]!

Графиня. Au revoir, au revoir!

Полковник галантно дотрагивается до козырька и быстро уходит.

Больная (встает, обуреваемая жаждой мщения). Если вы еще раз посмеете ударить меня по лицу, я вас пристукну, хоть бы пришлось раскрыть всю эту комедию.

Графиня. А вы в другой раз держите свой зонтик при себе. Что вы думаете — у меня дубленая кожа?

Обри (становясь между ними). Тише, тише, дети! Что случилось?

Больная. Эта сукина дочь…

Обри. Ой-ой-ой! Мопс! Черт возьми, вы же леди! Что случилось, Цыпка?

Графиня. Как вы можете так выражаться? Для простой девушки это еще куда ни шло. но от вас я этого не ожидала.

Обри. Мопс, вы шокируете Цыпку.

Больная. А меня, вы думаете, она не шокирует? Это ходячее землетрясение, а не женщина! Ну, а что мы будем делать, если эти люди, о которых говорил полковник, явятся сюда? Должно быть, есть настоящая графиня Вальбриони.

Графиня. Это еще неизвестно. Вы думаете, мы трое — единственные жулики на белом свете? Достаточно придумать себе громкий титул, и все прихвостни на пятьдесят миль в окружности будут клясться, что вы их лучший друг.

Обри. Первое правило, моя дорогая, которое должен затвердить каждый мошенник, заключается в том, что нет ничего действеннее лжи. Выскажите любую истину, которая всегда колола всем глаза, и мир восстанет и будет с пеной у рта оспаривать ее. И если вы не уступите и не раскаетесь — тем хуже для вас. Но скажите потрясающе глупую ложь — и, хотя все будут знать, что это ложь, со всех концов земного шара поднимется одобрительный шепот. Если бы Цыпка отрекомендовалась тем, что она есть и что для всех очевидно, а именно бывшей горничной в отеле, ставшей преступницей по убеждению, под влиянием проповедей бывшего армейского священника — то есть моих! — с которым ее связывала сильная, но весьма мимолетная страсть,— ей бы никто не поверил. Но стоило ей пустить в ход совершенно немыслимую ложь, выдать себя за графиню, а бывшего священника — за своего сводного брата, достопочтенного Обри Бэгота, как сонмы свидетелей подтверждают полковнику Толбойсу, что это святая истина. Поэтому, дорогая, не бойтесь разоблачения. А ты, Цыпка моя, лги, лги, лги, пока твое воображение не лопнет.

Больная (сердито бросаясь в шезлонг). Интересно, все мошенники такие любители проповедей, как вы?

Обри (любовно склоняясь к ней). Не все, дорогая. Я проповедую не потому, что я мошенник, а потому, что у меня такой дар — божий дар.

Больная. Откуда он у вас взялся? Что, ваш отец епископ?

Обри (выпрямляется и говорит тоном оратора). Разве не говорил я вам, что мой отец атеист и, как все атеисты, неумолимый моралист? Он считал, что я могу стать проповедником только при условии, если уверую в то, что проповедую. Это, разумеется, вздор. Мой дар проповедника не ограничен моей верой: я могу проповедовать все что угодно — и ложь и истину. Я словно скрипка, на которой можно исполнять любую музыку, от Моцарта до джаза. (Меняя тон.) Но старику никак нельзя было вдолбить это. Он решил, что самое подходящее для меня — стать адвокатом. (Подбирает с земли циновку, кладет ее слева от больной и разваливается в ленивой позе.)

Графиня. Мы разве не пойдем купаться?

Обри. А ну его, купанье! Не хочется лезть в воду. Примем солнечную ванну.

Графиня. Вот лентяй! (Переносит поближе складной стул, стоящий у палатки, и с недовольным видом садится.)

Больная. Ваш отец был совершенно прав. Если ваша совесть не участвует в том, что вы проповедуете, то трибуна адвоката — самое подходящее для вас место. Но так как ваша совесть не участвует также и в том, что вы делаете, вы, должно быть, кончите свою карьеру на скамье подсудимых.

Обри. Весьма вероятно. Но я прирожденный проповедник, а не адвокат. Принцип судоговорения состоит в том, чтобы заставить двух лгунов изобличить друг друга, и тогда правда откроется. Это мне не подходит. Я терпеть не могу, когда мне возражают. А единственное место, где человеку не грозят возражения,—это церковная кафедра. Я ненавижу споры. Во-первых, это дурной тон, а во-вторых, всякий спор сбивает с толку слушателей. Кроме того, юриспруденция слишком много внимания уделяет грубым фактам и слишком мало — духовным явлениям. А меня занимают только движения духа: тут- то я и могу дать волю моему дару проповедника.

Больная. А проповедовать то, во что не веришь, это тоже движение духа?

Обри. Полегче, Мопс! Мой дар от бога. Он не ограничен моими узкими личными убеждениями. Это не только красноречие, но и ясность мысли. Ясность — драгоценнейший дар, дар учителя, дар разъяснения. Я могу любому разъяснить все что угодно. И мне это нравится. А кроме того, это мой долг, если только доктрина увлекает меня своей стройностью, утонченностью и красотой. В глубине души я, может быть, и знаю, что это бессмысленный вздор, но если представляется возможность выжать из нее драматический эффект и прочесть блистательную проповедь, мой дар овладевает мной и принуждает меня это сделать. Цыпка, принеси мне, пожалуйста, подушку, будь другом.

Больная. Не ходите, Цыпка. Пусть сам за собой поухаживает.

Графиня (вставая). Да он там все пораскидает, пока найдет, что ему нужно. Терпеть не могу беспорядка в доме. (Уходит в палатку.)

Больная. Как странно, Попс. У нее психология горничной, а не женщины.

Обри. Порядок для нее — святое дело, Мопс, а это уже кое- что. У других вообще ничего святого нет.

Графиня (возвращается с шелковой подушкой и с размаху бросает ее на голову Обри). На! А теперь я требую расчета. Мне здесь надоело.

Обри (удобно укладываясь на подушку). Тебе всегда все надоедает.

Больная. По-видимому, это означает, что вам наскучил Толбойс?

Графиня (беспокойно расхаживая взад и вперед). Он мне так осточертел, что иногда я готова выйти за него замуж. Тогда это будет все равно что утром вставать, умываться, одеваться, есть и пить — все, что обязательно нужно делать, хочешь не хочешь, и что не смеет надоесть, иначе сойдешь с ума. Давайте уедем куда-нибудь и поживем настоящей жизнью.

Больная. Настоящая жизнь! Хотела бы я знать, где она! Мы в два месяца истратили около шести тысяч фунтов на поиски этой настоящей жизни. Деньги, которые мы выручили за жемчуг, когда-нибудь да кончатся.

Обри. Цыпка, придется тебе потерпеть, пока мы не получим выкуп. И не о чем больше говорить!

Графиня. Я сделаю так, как мне хочется, а не как ты велишь. Словом — повторяю: дайте мне расчет. Мне все это надоело. Я хочу чего-нибудь нового.

Обри. Что же нам с ней делать, Мопс? Вечно подавай ей новое, новое, новое!

Графиня. Я люблю видеть новые лица.

Обри. А я рад бы жить, как будда в храме, — вечно созерцая свой собственный пуп, в обществе старого жреца, который каждый день вытирал бы меня тряпкой. Но Цыпке каждую неделю требуется новое лицо. Был даже такой случай, когда она на одной неделе влюбилась дважды. (Поворачиваясь к ней.) Женщина, чувствуешь ли ты величие постоянства!

Графиня. Вероятно, чувствовала бы, будь я настоящая графиня. Но я только горничная из отеля, и мы так привыкаем видеть все новые лица, что под конец уже не можем обойтись без этого. (Садится на складной стул.)

Обри. Чем чаще меняются лица, тем больше чаевых, а?

Графиня. Это не важно, хотя тоже кое-что. Вся беда в том, что мужчины страшно милы в первые несколько дней, но и только. Поэтому лучше почаще менять их. По-моему, каждая любовная связь должна быть медовым месяцем. А единственный способ добиться этого — менять любовников, потому что никакого мужчины не хватит надолго. За всю свою жизнь я знала только одного мужчину, который остался верен себе до самой смерти.

Больная (с интересом). A-а! Значит, это все-таки возможно?

Графиня. Да. Этот человек женился на моей сестре, вот почему я это знаю.

Обри. И пыл его никогда не остывал? Изо дня в день, пока смерть не разлучила их, он был все тот же, что в день свадьбы? Неужели правда, Цыпка?

Графиня. Правда. Он побил ее в день свадьбы, а потом каждый день бил ее так же нещадно. Я заставила ее потребовать развода, но она вернулась к нему, потому что никто другой не обращал на нее внимания.

Обри. Почему ты мне этого раньше не сказала? Я избивал бы тебя до полусмерти, лишь бы не потерять тебя. (Садится.) Поверите ли, Мопс, я был влюблен в эту женщину !'Безумно влюблен! Она была ниже меня по духовному развитию, и мне приходилось учить ее прилично сидеть за столом. Но наши низшие инстинкты с необычайной силой толкали нас друг к другу. И когда через десять дней она бросила меня ради другого, только настойчивый голос рассудка, моя решимость не преступать законов цивилизации и страх перед полицией удержали меня от убийства и самоубийства.

Графиня. Но тебе, по крайней мере, есть что вспомнить, правда? У многих и этого не остается. А кроме того, Попси, ты отлично знаешь, что это для тебя же лучше. Ведь мы с тобой не пара.

Обри. У тебя было неодолимое влечение к коммивояжерам. Трех образцов хватало тебе только на неделю. Я невольно восхищался такой переменчивостью чувств. Мне приходилось слышать, как теноры воют со сцены: «Сердце красавицы склонно к измене», и я всегда считал, что самое страшное в женщинах — это их неумолимое постоянство. Но ты! Какое уж тут постоянство!

Графиня. Но и коммивояжеры, знаешь ли, были ничуть не лучше.

Обри. Не лучше? Скажи — не хуже. Переменчивость означает подвижность, а подвижность — признак цивилизации. Ты должна гордиться этим, не то потеряешь уважение к себе. Я не выношу женщин, которые себя не уважают.

Графиня. Что уж нам с тобой толковать об уважении! Ты вор, я воровка. Я еще похуже тебя; да и ты был бы такой же, будь ты женщиной. Не ломайся. Попси, хоть со мной-то.

Обри. Хоть с тобой! Цыпка, вот эта твоя забота о моей нравственной чистоте говорит о том, что ты все еще любишь меня.

Графиня. Ни о чем она не говорит. С тобой у меня все кончено, дружок. И полковник мне не по вкусу: слишком старый и слишком важный.

Обри. Все-таки лучше, чем ничего. Кто же тут еще?

Графиня. А сержант? Может быть, у меня низменный вкус, но сержант мне нравится, а полковник нет.

Больная. Вы что, Цыпка, влюбились в сержанта Филдинга?

Графиня. Да, если вам угодно так называть это.

Обри. А можно узнать, позондировала ты его по этому вопросу?

Графиня. Как же я могу это сделать? Ведь я графиня, а он простой сержант. Стоит мне показать, что я знаю о его существовании, и полковник заподозрит неладное. Я могу только глядеть на него. И то чтобы никто не заметил. А мне хочется броситься ему на шею. (Разражается слезами.)

Обри. Ради всего святого, не плачь.

Больная. Цыпка, а вдруг у сержанта есть жена и он души в ней не чает?

Графиня. Это не может помешать мне любить его. Я так одинока. Здесь тоска смертная, ни кино, ни танцулек. Нечего делать, кроме как разыгрывать важную леди. И единственный стоящий мужчина пропадает задаром! Лопнуть можно!

Больная. Ну что ж, и мне не лучше.

Графиня. Нет, лучше. Вы настоящая леди. Вам на роду написано скучать. А потом — у вас есть Попси. И все думают, что вы наша служанка. Когда он вам надоест, вы можете обшарить весь лагерь, вы можете подцепить любого солдата. Что вам мешает?

Больная. Вероятно, принципы морали, подобающие леди. Графиня. А ну их к бабушке! Я думала, вы бросили всю эту чепуху, когда ушли с нами.

Больная. Хотела бросить, пыталась. Но ничего не поделаешь — вы шокируете меня, Цыпка, как только рот откроете.

Графиня. Вы только не воображайте, что вы более добродетельная женщина, чем я. Потому что это неправда.

Больная. Я и не воображаю. Но могу сообщить вам, что мое увлечение Попси, которое, как я теперь понимаю, и толкнуло меня на сумасбродное бегство из дому, до сих пор вполне невинного свойства. Можете вы этому поверить, Цыпка?

Графиня. И очень даже. Дайте Попси поговорить, и больше ему ничего не нужно. А вам я прямо скажу: какова бы я ни была, а одного мужчины зараз мне достаточно.

Больная. Вы намекаете, что у меня шашни с двумя мужчинами?

Графиня. Я ни на что не намекаю. Я всегда прямо говорю, что думаю. А если вам не нравится, то не взыщите. Может быть, вы влюблены в Попси. Но вам нравится рядовой Слаб. И что вы нашли в этом высохшем сморчке? Хоть убейте меня, не понимаю!

Больная. А вы не заметили, дорогая моя Цыпка, что этот высохший сморчок вертит вашим великолепным сержантом?

Графиня. Это только пока, потом я буду им вертеть. А вы будьте осторожны, послушайте моего совета: не больше одного мужчины зараз. Я говорю для вашей же пользы, ведь вы новичок в этом деле. А то, что вам кажется любовью или увлечением и тому подобное, на самом деле вовсе не любовь. На три четверти это любопытство. Я сама через это прошла, я знаю. Теперь, когда я люблю кого-нибудь, то это любовь в чистом виде и больше ничего. И это очень хорошо — пока не разлюблю. Мой очаровательный сержант ничуть для меня не любопытен: я наизусть знаю, что он скажет и что сделает. И этого мне только, и нужно.

Больная (встает с возмущением). Слушайте, Цыпка! С меня довольно. Несомненно, вы правы. И так и нужно говорить об этом, как вы, — прямо и открыто. Я восхищаюсь вами и завидую циничному спокойствию, с которым вы все это выкладываете. Может быть, со временем я и привыкну к вашему тону, но сейчас это выше моих сил. Мне придется просто-напросто уйти, если вы не перемените разговор. (Садится в плетеное кресло спиной к ним.)

Обри. Вот Цыпка в своем настоящем виде. У нас у всех — как бы это выразиться поделикатнее — имеются высшие и низшие инстинкты. Наши низшие инстинкты действуют; они действуют со страшной силой, и эта сила иногда разрушает нас; но они безмолвствуют. Речь — это сфера высших инстинктов. В поэзии, в литературе всего , мира говорят высшие инстинкты. Во всех благопристойных беседах говорят высшие инстинкты, даже когда они молчат, даже когда лгут. Но низшие инстинкты неотступно при нас, словно тайная вина, которую мы знаем за собой, хотя они и безгласны. Я помню, как я спросил своего учителя в колледже: что, если бы чей-нибудь низший инстинкт вдруг заговорил, — пожалуй, эффект получился бы больший, чем когда заговорила Валаамова ослица[4]? В ответ он рассказал мне с десяток сальных анекдотов, чтобы показать, что он человек без предрассудков. Я больше не возвращался к этой теме, до встречи с Цыпкой: Цыпка и есть Валаамова ослица.

Графиня. Выражайся повежливее. Попси, или…

.Обри (вскакивая со стула). Женщина! Я сказал тебе комплимент. Валаамова ослица была умнее Валаама. Надо внимательней читать Библию. Вот это-то и делает Цыпку почти сверхчеловеческим существом. Ее низшие инстинкты говорят. После войны низшие инстинкты обрели голос. И это было страшнее землетрясения, ибо они высказывают истины, которые всегда замалчивались, истины, от которых творцы наших отечественных устоев пытались отмахнуться. А теперь, когда Цыпка повсюду кричит о них, все наши устои трещат, шатаются, рушатся. У нас не осталось ни места в жизни, ни прочных основ, ни сколько-нибудь пригодной морали, ни неба, ни ада, ни заповедей, ни бога.

Больная. А как же «свет в наших душах», о котором вы так красноречиво вещали третьего дня, когда выпили бутылку шампанского за обедом?

Обри. У большинства из нас, по-видимому, нет души; или если и есть, то ей не за что ухватиться. А тем временем Цыпка продолжает кричать. (Садится в шезлонг.)

Графиня (встает). Что ты плетешь? Вовсе я не кричу. Я была бы хорошей женщиной, не будь это так скучно. Если будешь хорошей, непременно станешь жертвой. Кто такие хорошие женщины? Те, которым нравится нагонять скуку и приносить себя в жертву. У них нет желаний. Жизнь их пропадает зря, они не умеют ею пользоваться.

Больная. Ну, а вы, Цыпка? Как вы пользуетесь жизнью? Графиня. Я ищу сильных ощущений. Вот возьмите нас с Попси. Мы постоянно строим планы грабежа. Я, конечно, знаю, что это чаще всего одно воображение, но самое интересное — это планы и ожидание. Даже если бы мы на самом деле кого-нибудь ограбили и засыпались, как увлекательно было бы стоять перед судом, попасть во все газеты. Помните бедного Гарри Смайлера, который убил полисмена в Кройдоне? Когда он пришел к нам и рассказал об этом, Попси предложил ему достать цианистый калий, — потому что можно было не сомневаться, что его изловят и вздернут. «Что? —сказал Гарри.—Не испытать, как тебя судят и приговаривают к смертной казни? Пусть меня лучше повесят». Ну и повесили… И по-моему, стоило испытать это, ведь он все равно бы умер и, может быть, мучительной смертью. Гарри был, собственно, неплохой человек, но он не выносил скуки. У него была замечательная коллекция пистолетов, он начал собирать их еще мальчишкой; во время войны он много набрал — просто так, ради интереса; ничего дурного он не замышлял. Но ему ни разу не пришлось воспользоваться ими; и в конце концов он не устоял перед искушением — пошел и застрелил полисмена. Просто ради ощущения, что он разрядил пистолет и убил кого- то. Когда Попси спросил его, зачем он это сделал, он ничего не мог ответить, кроме того, что это было некое завершение. Вот что-то в этом роде я и имею в виду (Снова садится, облегчив душу своей тирадой.)

Обри. Это говорит только о недостатке Жизненной силы. Вот был человек, перед которым раскрывались все чудеса мироздания и все тайны человеческих судеб. Какой еще пищи для ума и воображения ему нужно было? А он пошел и застрелил ни в чем не повинного полисмена, потому что не мог придумать ничего более интересного. За это стоило повесить. И всех зевак, которые не могли найти ничего более увлекательного, как ломиться в залу суда, чтобы поглядеть на него, когда ему будут читать смертный приговор, тоже стоило бы повесить. И тебя, Цыпка, когда-нибудь повесят, потому что у тебя нет того, что называется умственным багажом. Я пытался развивать тебя…

Графиня. Да, давал мне книги читать. Но я не могла осилить их, меня тошнило от скуки. Я пробовала разгадывать кроссворды, чтобы отвлечь свои мысли от планов грабежа, но разве это может сравниться с залезанием в чужой карман? Не говоря уже о том, что на кроссворды не проживешь. Ты хотел научить меня пить, чтобы я угомонилась. Но я не люблю пьянства. И на что я стала бы похожа? Десять бутылок шампанского не могут заменить ощущения, с каким проходишь мимо полисмена, зная, что достаточно ему остановить тебя и обыскать — и упрячут тебя на три годика.

Больная. Попс, неужели вы в самом деле приучали ее пить? Какой вы все-таки отъявленный негодяй!

Обри. С ней гораздо приятней, когда она подвыпьет. Вы же слышите, что она говорит в трезвом состоянии.

Больная. Скажите мне, Цыпка, вам на самом деле так хорошо живется? Вы начали с того, что грозились бросить наше увлекательное предприятие, потому что вам скучно.

Обри. Что ж, она свободна. У нее сержант на примете. А кроме того, она всегда надеется на счастливый случай. Ведь она знает, что в любую минуту может ухватиться за него, не сбрасывая оков и не разрушая стен, за которыми заточена респектабельная женщина.

Больная. Ну, а я?

Обри (с недоумением). Что —вы? Вы свободны. Разве нет?

Больная (медленно встает и, обойдя его сзади, присаживается на ручку шезлонга, берет его левую руку в свои и не выпускает во все время своей речи). Мой ангел, вы избавили меня от респектабельности так основательно, что я последний месяц жила как горная серна. Я отделалась от моей заботливой матери, словно младенец, отлученный от груди, и я перестала ненавидеть ее. От рабства, в котором держали меня повара, без передышки пичкавшие меня рыбой, мясом и дичью, осталось одно грустное воспоминание: я питаюсь финиками, хлебом. водой и сырым луком, когда это есть. А когда нет — пощусь; и благодаря этому я забыла, что такое болезни Если я вздумаю убежать, ни один из вас меня не догонит. А если бы и догнал, я могу одолеть вас обоих одной рукой. Я с упоением созерцаю то, что вы называете чудесами мирозданья: прелестные зори, очаровательные закаты, изменчивые узоры облаков, цветы, животных и их повадки, птиц, букашек й ползучих гадов. Каждый мой день — это день удивительных приключений: это смена прохлады и зноя, света и тьмы, это круговорот подъемов и падений жизненных сил, голода и сытости, это жажда действия, которая переходит в сонливость, и мечтательное раздумье о возвышенном, которое внезапно сменяется волчьим аппетитом.

Обри. Чего еще может пожелать смертный?

Больная (хватая его за уши). Лгунишка!

Обри. Благодарю. Вы, по-видимому, хотите сказать, что все это вас не удовлетворяет: вам нужен еще и я.

Больная. Вы!! Вы!!! Подлый, эгоистичный, медоточивый лентяй! (Отпуская его.) Нет, я внесла вас в рубрику животных и их повадок, вместе с Цыпкой и сержантом Графиня. Цыпку и ее сержанта оставьте в покое, понятно9 Хватит с меня ваших шуток.

Больная (встает, берет графиню за подбородок и поворачивает ее голову к себе). Это не шутка, Цыпочка, я говорю очень и очень серьезно. Я назвала Попси лгуном, потому что всего того, о чем я говорила, недостаточно. Мало-мальски деятельный человек и недели не проживет одними чудесами природы, если только он не ботаник, не физик, не художник или еще что-нибудь в этом роде. Я хочу разумного дела. Хорошо живется бобру, потому что он должен выстроить себе плотину и вырастить свое потомство. Я хочу делать свое маленькое дело, как бобер. Если я буду только созерцать вселенную, в которой так много жестокого, страшного, злого, порочного, а еще больше гнетуще астрономического, беспредельного, непостижимого и немыслимого, я заболею буйным помешательством и меня за волосы поволокут обратно к маме. Бесспорно, я свободна, я здорова, я счастлива. И я бесконечно несчастлива. (Обращаясь к Обри.) Слышите? Бесконечно несчастлива.

Обри (теряя терпение). А я, как вы думаете? Торчать здесь и только и делать, что таскаться с двумя дурами и уговаривать их.

Графиня. Им и того хуже. Приходится слушать тебя. Больная. Я презираю вас. Ненавижу. Вы… вы… вы… джентльмен-вор! Какое право имеет вор быть джентльменом? Цыпка, видит бог, тоже не ангел, она вульгарна, низменно хитра, вечно старается обмануть кого-нибудь или обольстить мужчину, — но она по крайней мере женщина, она реальна. В мужчинах нет ни на грош реальности, только болтовня, болтовня, болтовня…

Графиня (привстав). А вы полегче, слышите?

Больная. Еще одно нахальное слово, Цыпка, и я так вас отделаю, что вы целый час пищать будете.

Цыпка утихает.

Мне хочется поколотить кого-нибудь. Мне хочется убить кого-нибудь. Кончится тем, что я убью вас обоих. Что такое мы трое, мы, отважные искатели приключений9 Мы просто три негодных удобрителя.

Обри. Ради всего святого, что вы хотите сказать?

Больная. Да. Негодные удобрители. Мы превращаем хорошую пищу в плохой навоз, и только. Мы ходячие фабрики плохого удобрения, вот мы что!..

Графиня (вставая). Как хотите, а я не намерена сидеть здесь и слушать такие разговоры. Постыдились бы!

Обри (тоже встает, он шокирован). Мисс Мопли, есть неаппетитные истины, которые ни одна леди не позволит себе бросить в лицо своему ближнему.

Больная. Я уже не леди. Я теперь вольна говорить все, что мне вздумается. Ну как, нравится вам?

Графиня (примирительно). Послушайте, милочка, чего вы расходились? Вы…

Больная наступает на нее, графиня вскрикивает.

Ай-ай-ай! Попси, она сумасшедшая. Спаси меня! (Убегает.)

Обри. Что с вами такое? Спятили вы, что ли? (Пытается удержать мисс Мопли, но она одним ударом сбивает его с ног.)

Больная. Нет. Я только наслаждаюсь моей свободой. Свободой, которую вы проповедовали. Свободой, которую вы мне добыли. Вам не нравится, когда кричат низшие инстинкты Цыпки. Что ж, теперь вы слышите, как кричат мои высшие инстинкты. И, по-видимому, вам это тоже мало нравится.

Обри. Мопс, это все истерика. Час назад вы чувствовали себя отлично, и не пройдет и часу, как вы опять будете чувствовать себя отлично. Все будет хорошо, резвитесь на воле.

Больная. Ну и что? Заблудившийся пес резвится на воле, иначе он не отстал бы от хозяина. Но он самое жалкое существо на свете. Я заблудившийся пес, бездомный бродяга. Мне нечего делать, мне некуда идти. Цыпка, и вы, и я — все мы несчастливы. И я сейчас так изобью вас, что вы костей не соберете. (Бросается на Попси.)

Попси увертывается и убегает. В эту минуту Толбойс и Слаб выходят из-за угла барака. Больная, не сдержав стремительного бега, с размаху налетает на полковника.

Толбойс (строго). Что такое? Что ты здесь делаешь? Почему ты шумишь? Не смей сжимать кулаки в моем присутствии!

Она покорно опускает голову.

Что случилось?

Больная (кланяясь, нараспев). Акчево сан у алыб.

Толбойс. По-английски говоришь?

Больная. Нет, не англис.

Толбойс. А по-французски?

Больная. Не франсус, туан. Алеб генс йынрог отч.

Толбойс. Ну, хорошо, чтобы этого больше не было! А теперь ступай!

Она, кланяясь, пятится к палатке. Толбойс садится в шезлонг.

(Слабу.) Эй, послушайте! Вы сказали, что вы переводчик. Вы поняли, что говорила эта женщина?

Слаб. Так точно, сэр.

Толбойс. Какое это наречье? Мне показалось, что не то, на котором говорят местные жители.

Слаб. Так точно, сэр. И я так говорил в детстве. Школьный жаргон, сэр.

Толбойс. Школьный жаргон? О чем вы говорите?

Слаб. Слова наоборот; и расстановка слов обратная, сэр. Значит, она эти две фразы знает наизусть.

Толбойс. Туземка? Как это может быть? Я сам бы не сумел.

Слаб. Значит, она не туземка, сэр.

Толбойс. Но это нужно расследовать. Удалось вам разобрать, что она говорила?

Слаб. Только «акчево сан», сэр. Это нетрудно. А дальше уже легко было догадаться.

Толбойс. А что такое «акчево»?

Слаб. Овечка, сэр.

Толбойс. Она назвала меня овечкой?

Слаб. Нет, сэр. Она только сказала: «Была у нас овечка». А когда вы спросили ее, говорит ли она по-французски, она, понятно, ответила: «что горный снег бела».

Толбойс. Так это же наглость.

Слаб. Зато она вышла из затруднения, сэр.

Толбойс. Нешуточное дело. Эта женщина выдает себя перед графиней за прислужницу-туземку.

Слаб. Вы так думаете, сэр?

Толбойс. Я не думаю, я знаю. Не валяйте дурака. Подтянитесь и отвечайте поумней, если можете.

Слаб. Да, сэр. Нет, сэр.

Толбойс (сердито рычит на него!. «Бэ-бэ-бэ, черный мой баран, дай побольше шерсти». — «Да, сэр, нет, сэр, ничего не дам». Не смейте говорить мне: да, сэр, нет, сэр.

Слаб. Слушаю, сэр.

Толбойс. Пойдите верните эту женщину. Только, смотрите, ни слова ей о том, что я разгадал ее. Когда я с ней покончу, вы дадите мне объяснения по поводу хлопушек.

Слаб. Слушаю, сэр. (Уходит в палатку.)

Толбойс. Пошевеливайтесь! (Удобно усаживается в шезлонге и вынимает портсигар.)

Графиня выглядывает из-за угла палатки, проверяя, миновала ли опасность. Обри делает такую же разведку из-за угла барака.

Графиня. А вот и я опять. (Дарит полковника чарующей улыбкой и садится на свое прежнее место.)

Обри. Moi aussi[5]. Разрешите… (Ложится на циновку.)

Толбойс (выпрямляясь и пряча портсигар обратно в карман). Как раз вовремя. Я только что собирался послать за вами. Я сделал очень важное открытие: эта ваша туземная служанка вовсе не туземка. Ее наречие — просто галиматья, обман. Она англичанка.

Обри. Да что вы!

Графиня. Этого быть не может!

Толбойс. Никаких сомнений, она обманщица. Берегите свои брильянты!.. Или — а я именно это и подозреваю — она шпионка!

Обри. Шпионка! Но ведь сейчас нет войны.

Толбойс. Лига Наций повсюду имеет своих шпионов. (Графине.) Прошу вас разрешить мне немедленно осмотреть ее вещи, пока она не узнала, что я разоблачил ее. Графиня. Но у меня ничего не пропало. Я уверена, что она не воровка. Что вы хотите искать в ее вещах?

Толбойс. Хлопушки.

Графиня и Обри (в один голос). Хлопушки?

Толбойс. Да, хлопушки! Я сегодня обследовал склады: хлопушки исчезли. А они мне очень нужны: когда я ухожу писать, меня хлопушкой зовут обедать. Я, знаете, большой любитель акварельной живописи… Ни одной хлопушки не осталось, а было пятнадцать штук…

Обри. Я знаю, где они. У одного из ваших солдат, у Слаба. Он разъезжает на мотоцикле с колючей проволокой и целым мешком хлопушек. Сказал, что разведывает местность; он явно хотел поскорей отделаться от меня. Я и не стал допытываться. Но это объясняет исчезновение хлопушек.

Толбойс. Ничего не объясняет. Это очень серьезное дело. Слаб — полуидиот, которого не следовало принимать в армию, он как ребенок. Эта женщина могла заставить его сделать все что угодно.

Графиня. Но на что ей хлопушки?

Толбойс. Не знаю. Экспедиция была послана без санкции Лиги Наций. Мы всегда забываем согласовать вопрос с Лигой, когда речь идет о чем-нибудь серьезном, — может быть, эта женщина — эмиссар Лиги Наций? Может быть, она работает против нас?

Графиня. А хоть бы и так, что она может нам сделать?

Толбойс (похлопывая рукой по револьверу). Дорогая леди, вы что — думаете, это игрушка? Как вы не понимаете, что горы здесь кишат, враждебными племенами и мы в любую минуту можем ждать набега? Видите вон там электрический клаксон? Если он начнет давать гудки, берегитесь: это сигнал, что на нас движется отряд туземцев.

Графиня (испуганно). Если бы я это знала, ноги бы моей здесь не было. Попси, это верно?

Обри. Верно-то верно. Но это пустяки, они нас боятся.

Толбойс. Да, боятся. Но только потому, что они не знают, что нас здесь всего горсточка. А если эта женщина поддерживает с ними связь и командует этим несчастным идиотом Слабом, они могут налететь на нас, как осы. , Это очень скверная история. Я должен досконально расследовать дело, и как можно скорей. A-а, вот и она.

У входа в палатку появляется Слаб. Он вежливо сторонится, пропуская больную, и остается стоять на месте.

Слаб. Полковник желал бы поговорить с вами, мисс.

Обри. Вы поосторожней с ней, полковник. Она бегает, как олень; и мускулы у нее железные. Я советовал бы вызвать охрану, прежде чем браться за нее.

Толбойс. Бросьте! Эй, ты!

Больная подходит к полковнику с видом ангельской невинности, падает на колени, подняв ладони, и стукается лбом о землю.

Говорят, ты очень быстрая. Но пуля быстрее тебя. (Похлопывает рукой по револьверу.) Понимаешь?

Больная. Акчево сан у алыб, алеб гене йынрог отч…

Толбойс (язвительно). И кто бы ни окликнул…

Больная (подхватывая). К тому бежит она. Раскусили меня, полковник! Какой вы догадливый! Ну, в чем же дело?

Толбойс. Вот это я намерен выяснить. Вы не уроженка..

Больная. Уроженка, но только графства Сомерсет.

Толбойс. Вот именно. Для чего этот маскарад? Почему вы скрывали от меня, что говорите по-английски?

Больная. Ради шутки.

Толбойс. Это не ответ. Зачем вы выдавали себя за прислужницу-туземку? Быть служанкой вовсе не шутка. Отвечайте. И не пытайтесь изворачиваться. Зачем вы выдавали себя за служанку?

Больная. Знаете, полковник, в наше время не хозяйка командует в доме, а прислуга.

Толбойс. Оригинально. Вы, пожалуй, скажете, что нижний чин может лучше командовать воинской частью, чем полковник?

Клаксон издает пронзительные гудки. Полковник выхватывает револьвер и со всех ног бежит вверх по песчаному склону, но Слаб опережает его и, добравшись до вершины начинает отдавать команду, словно это само собой разумеется, не обращая внимания на окаменевшего от изумления полковника, Обри, вскочив на ноги, идет за ними посмотреть, что происходит. Цыпка в паническом страхе хватает больную за руку и тащит ее к палатке, но больная резко отталкивает ее и,, как только начинается пальба, бежит на звук выстрелов.

Слаб. К оружию! Заряжай! Приготовить ракеты! Сколько их, сержант, как вы думаете? Какая дистанция?

Сержант Филдинг (за сценой). Сорок всадников. Около девятисот ярдов.

Слаб. Готовьсь! Прицел тысяча восемьсот, поверху, без попаданий! Десять залпов. Огонь!

Залп,

Ну как?

Голос сержанта. Продолжают идти, сэр.

Слаб. Первый ракетный взвод, приготовиться! Контакт1

Оглушительный взрыв справа.

Ну как?

Голос сержанта. Остановились.

Слаб. Второй ракетный взвод, приготовиться! Контакт!

Взрыв слева.

Ну как?

Голос сержанта. Ускакали, сэр, все до единого.

Слаб, снова в роли незаметного рядового, спускается с дюн, за ним идет Обри. Они становятся один справа другой слева от полковника.

Слаб. Все в порядке, сэр. Простите за беспокойство.

Толбойс. Ах, вот как? И это все, по-вашему?

Слаб. Так точно, сэр. Вам не о чем тревожиться. Разрешите составить донесение, сэр? Серьезное столкновение, враг разбит, английские войска потерь не имели. Могут представить к ордену «За примерную службу», сэр.

Толбойс. Рядовой Слаб! Простите мою дерзость, но позвольте спросить, кто командует этой экспедицией, вы или я?

Слаб. Вы, сэр.

Толбойс (пряча револьвер). Вы мне льстите. Благодарю вас. Позвольте задать вам еще один вопрос: кто разрешил вам перетащить весь полковой запас ракет на дюны и взорвать их под носом у противника?

Слаб. Это обязанность связиста. Связист — это я. Мне нужно было убедить противника, что окрестные горы ощетинились британскими пушками. Теперь он в этом уверен. Больше он нас не потревожит.

Толбойс. Интересно. Полковой писарь, переводчик, связист. Еще какое-нибудь звание, о котором я не осведомлен?

Слаб. Нет, сэр.

Толбойс. Вы уверены, что вы не фельдмаршал?

Слаб. Совершенно уверен, сэр. Никогда не поднимался выше полковника.

Толбойс. Вы были полковником? Как это понять?

Слаб. Только для почета, сэр. По особому распоряжению, ради приличия, в тех случаях, когда мне приходилось принимать командование.

Толбойс. Л почему вы сейчас рядовой?

Слаб. Я предпочитаю не иметь чина, сэр. Руки развязаны. И общество в офицерском собрании мне не по душе. Я всегда ухожу в отставку и вновь записываюсь рядовым.

Тол боне. Всегда? Сколько раз вы получали офицерский чин?

Слаб. Точно не помню, сэр. Кажется, три.

Толбойс. Черт знает что!

Больная. Ах, полковник! А вы-то принимали этого военного гения за полуидиота!!!

Толбойс (с апломбом). Ничего удивительного. Симптомы в точности те же. (Слабу.) Можете идти.

Слаб козыряет и молодцевато уходит.

Обри. Ну и ну!

Графиня. Ах, черт его… (Спохватившись.) Tiens, tiens, tiens[6].

Больная. Как вы поступите с ним, полковник?

Толбойс. Сударыня, секрет командования и в армии и вне ее состоит в том, чтобы никогда не терять времени на дело, которое можно поручить подчиненному. Я увлекаюсь акварельной живописью… До сих пор командование полком мешало мне предаваться любимому занятию,— отныне я всецело посвящу себя искусству и предоставлю руководство экспедицией рядовому Слабу. И поскольку вы все, по-видимому, на более короткой ноге с ним, чем я смею претендовать, то сделайте мне одолжение и сообщите ему — так, мимоходом, понимаете? — что я уже имею орден «За примерную службу» и в настоящее время интересуюсь орденом Бани — вернее, интересуется моя жена. Ибо в данную минуту меня занимает только одна мысль: написать мне это небо берлинской лазурью или кобальтом.

Графиня. Как вы можете тратить время на какие-то картинки?

Толбойс. Графиня, я пишу картины, чтобы остаться в своем уме. Имея дело с людьми — все равно, с мужчинами или женщинами,—я чувствую себя помешанным. Человечество всегда обманывало меня; природа — никогда.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Узкий проход в песчанике, изрытом естественными гротами, ведет к берегу. На переднем плане песок и огромные камни. К двум из гротов можно добраться по камням, образующим подобие ступеней. Солдаты ради забавы придали этим гротам вид примитивных архитектурных сооружений и придумали для них названия. Грот, который находится слева от зрителей,— высокий и узкий, украшен естественной колонной и камнем, похожим на алтарь; впечатление готического храма усиливается чем-то вроде заостренной арки, которую какой-то шутник выдолбил в каменном своде; над аркой надпись: «Собор святого Павла». Грот справа — гораздо просторнее, в нем свободно помещается скамейка на двоих. Он освещен лампочками, обернутыми в розовую бумагу; над входом кто-то вывел красным мелком надпись: «Приют любви», а еще ниже — надпись белым мелком: «Пользоваться электричеством не обязательно». В данный момент «Приют любви» занят сержантом. Это статный, видный мужчина лет сорока. Он сидит на скамейке и со страстным вниманием изучает две книги: сравнивает текст.

«Собор святого Павла» тоже занят: высокий худой старик,— судя по осанке и костюму, состоятельный английский джентльмен, — сидит на камне, положив локти на алтарь и подперев голову руками. Он в глубоком трауре, и поза его выражает безграничное отчаяние. Цыпка, в полном туалете, с недовольным и скучающим видом медленно спускается по проходу. На берегу она не находит ничего интересного, но внимание ее нечаянно привлекает сержант, который, наткнувшись в своих книгах на особенно разительное совпадение или противоречие, с азартом бьет кулаком по одной из них. Цыпка тотчас же оживляется, проворно взбирается к гроту и становится рядом с сержантом, справа от него; но он так увлечен своими книгами, что не замечает ее.

Цыпка (впиваясь в него глазами). К-хм!

Сержант поднимает голову. Увидев, кто это, он вскакивает и становится навытяжку.

(Просто.) Можно и не вставать ради меня.

Сержант (церемонно). Прошу прощения, ваше сиятельство. Я не заметил, как вы подошли.

Цыпка. Бросьте эти глупости, сержант. (Садится на скамейку справа от него.) Давайте не терять времени. И вы и я пропадаем от скуки. Не лучше ли нам подружиться и повеселить друг друга?

Сержант (строго и презрительно). Нет, миледи, не лучше. Я все это видел во время войны: смазливые дамочки, которые снуют по госпиталям, влюбляются как дуры и только зря тревожат ребят; я этого не признаю. Держитесь своего класса, а я буду держаться своего.

Цыпка. Мой класс! Липа! Никакая я не графиня. И мне надоело прикидываться важной леди. Неужели вы не догадались?

Сержант (садясь на свое место, запросто). Стану я ломать себе голову. В наше время любая красотка может стать графиней, стоит ей только подцепить графа.

Цыпка. Значит, по-вашему, я красивая?

Сержант. Послушайте, если вы не графиня, то кто вы такая? И в чем, собственно, дело?

Цыпка. А дело такое, душка моя, что вы мне приглянулись. Я вас люблю.

Сержант. Подумаешь! Такого мужчину, как я, всякая полюбит.

Цыпка. Только не здесь, дорогой. Здесь, кроме меня, никого не найдешь, хоть пятьдесят миль скачи. Есть еще одна белая женщина, но та настоящая леди; она на вас и не посмотрит.

Сержант. Вот это, пожалуй, верно.

Цыпка (придвигаясь к нему). Правда?

Сержант (не протестуя, но сам не двигаясь с места). Здешний климат действует на мужчину, хоть бы он ни о каких глупостях и не думал.

Цыпка (беря его под руку). Так это же естественно. Брось ломаться.

Сержант. Все-таки не такой я человек, чтобы видеть в женщине одну только необходимость, как другие военные. Для них женщина не больше чем банка с вареньем,— поел и отставил. Я держусь другого мнения. Конечно, есть и эта сторона, и для людей, которые ничего лучшего не знают, — просто скоты, можно назвать их, — этим все начинается и все кончается. Но для меня совсем не это важно. Я люблю узнавать мысли женщины. Я люблю изучать ее душу, не только тело. Когда вы заговорили сj мной, я читал вот эти две книжицы. Я всегда ношу их с собой. Я с каждой женщиной делюсь сомнениями, которые они во мне вызывают.

Цыпка (с возрастающим недоверием). А что это за книжки? Сержант (указывая сначала на одну, потом на другую) Библия. «Путь паломника из этого мира в мир грядущий».

Цыпка (в ужасе, порываясь встать). О господи!

Сержант (крепко прижимая локтем ее руку). Нет, не уйдешь. Сиди смирно. И не поминай всуе имени господа бога твоего. Если ты веришь в него — это богохульство; если не веришь — бессмыслица. Ты должна выучиться упражнять свой ум: что для мужчины женщина, ум которой бездействует? Только одно из удобств жизни.

Цыпка. Мне хватает упражнений для ума, когда я свои дела устраиваю. А от тебя, дорогой, я жду развлеченья.

Сержант. Понятно. Но когда мужчина и женщина сходятся только для развлеченья, они всегда просчитываются, потому что появляются пункты, о которых они не договаривались. У мужчины и женщины имеется не только подвал, но и чердак; один без другого не сдается. Люди постоянно пытаются разделить их, но из этого ничего не выходит. Ты выбрала не только мое тело, но и душу, и тебе придется изучить ее. За моим красивым лицом и статной фигурой ты искала гориллу. Теперь ты видишь, что ошиблась. Вот и все.

Цыпка. Ох, пусти меня. Я сыта по горло такими разговорами. Знай я, что ты набожный, я бы и близко не подошла к тебе, можешь не сомневаться. Ну, пусти меня!

Сержант. Подожди! Может быть, природа пользуется мной как приманкой, чтобы пробудить в тебе интерес к духовной жизни. Может быть, природа пользуется твоим приятным животным теплом, чтобы усилить работу моего ума. Мне нужен твой совет. Я не уверен, последую ли я ему, но он может помочь мне. Как видишь, я в тупике Цыпка. Ну какой же это тупик, это грот.

Сержант. Да я не про то. Мой ум в тупике, в смятении Я всегда был верующим, а теперь меня одолевают сомнения.

Цыпка. Спасибо и на этом.

Сержант. Видишь эти две книги? Я верил каждому слову, написанному в них, потому что мне казалось, что они не имеют никакого отношения к подлинной жизни. Но война сделала эти старые сказки доподлинными; и тут-то начинаются сомнения. Посмотри вот это место. (Показывает пальцем на страницу в «Пути паломника»[7].) На самой первой странице: «Я знаю, что город наш будет сожжен огнем небесным, и в этом страшном бедствии мы, и я и ты, жена моя, вместе с невинными чадами нашими погибнем безвозвратно, если не найдем пути к спасению». Так вот, Лондон, и Париж, и Берлин, и Рим, и другие столицы будут сожжены огнем небесным в будущую войну; это факт. Все они Грады Разрушения. А наши правители, с грузом мертвецов и долгов на спине, мечутся и кричат: «Что нужно сделать, чтобы спастись?» Вот это оно и есть: не рассказ из книги, как бывало, а святая истина в действительном, доподлинном мире. И единственная их надежда: «Беги грядущего гнева». А куда им бежать? Вот они и заседают в Женеве или судачат по воскресеньям на вилле у премьера, спрашивая друг друга: «Куда нам бежать?» И никто не может дать ответа. Человек в этой книге говорит: «Видишь ты свет, который светит вдали?» В наше время света хоть отбавляй. И в парламенте свет, и в газетах, и в церквах, и в книгах, которые называются Основы; Основы истории, Основы науки и еще всякие Основы; и, несмотря на всю эту болтовню, мы сидим здесь, во Граде Разрушения, как агнцы, приведенные на заклание, и ждем грядущего гнева. Этот малограмотный лудильщик говорит мне, что путь спасения прямо передо мной и так тесен, что сбиться с него нельзя. Но он называет этот мир пустыней, а в пустыне нет дорог, их нужно прокладывать. Все прямые дороги проложены солдатами; и привели их эти дороги вовсе не на небо, чаще всего они попадали совсем в другое место. Нет, Джон, ты хорошо умел рассказывать сказки, и, говорят, ты был солдатом, но, когда солдат вместо службы начинает рассказывать сказки, его сажают в кутузку; и тебя посадили. Двенадцать лет Бедфордской тюрьмы[8] ему припаяли: в тюрьме он читал Библию и…

Цыпка. А что же там еще читать? Есть тюрьмы, где ничего другого не дают.

Сержант. А ты откуда знаешь?

Цыпка. Это мое личное дело. Тебя не касается.

Сержант. Не касается? Нет, пташка, ты меня не знаешь. Другой мужчина тут же спровадил бы тебя, а для меня нет ничего интереснее, как поговорить с женщиной, которая просидела взаперти много лет подряд, читая одну только Библию.

Цып к а. Много лет подряд! Что ты мелешь? Никогда больше девяти месяцев не отсиживала. А если какая тварь скажет, что я просидела хоть на один день больше, так это враки.

Сержант (кладя руку на Библию). Эту книгу можно прочесть от корки до корки за девять месяцев.

Цыпка. Да от нее можно впасть в тихое помешательство! А меня она и вовсе подвела. Священник спросил, за что я в тюрьме. А я ответила: «За то, что обобрала египтян[9], смотри книгу «Исхода», главу такую-то, стих такой-то». А он, свинья такая, нажаловался на меня! Из-за него лишнюю неделю просидела.

Сержант. И поделом тебе! Я не стою за ограбление египтян. До войны обирать египтян считалось священным делом. А теперь мне ясно, что это просто воровство.

Цыпка (шокированная). Как ты грубо выражаешься! Но только почему Моисею можно, а мне нельзя?

Сержант. Если Библия так повлияла на твой ум, то это плохое влияние. Там есть хорошие вещи: будь справедлив, возлюби милосердие, смирись перед богом. Это может убедить человека, если только изложить это точно и ясно, как в воинском уставе. Но все остальное — грабить врагов и не давать пощады, приносить человеческие жертвы, думать, что можно сделать с другим народом все что угодно, потому что мы, дескать, богом избранный народ и только мы одни правы, а все другие виноваты, — как все это выглядит, когда не читаешь про это, а целых четыре года в этом варишься на самом деле? Нет, к черту! Мы цивилизованные люди. Может быть, это и годилось для древних евреев, но это не религия. А если так, то на чем же мы стоим? Вот что я хотел бы знать.

Цыпка. И это все, что тебя интересует? Сидеть в этом гроте и думать о таких вещах?

Сержант. Кто-нибудь должен же думать, иначе — что нас ждет? Офицеры не желают ни о чем думать. Полковник малюет. Лейтенанты стреляют птиц и зверей или играют в поло; им и в голову не приходит бежать грядущего гнева. Когда им не хочется выполнять служебные обязанности, это делаю за них я. То же самое и с религиозными обязанностями. Это дело священника, не мое; но когда нападешь на настоящего верующего священника, оказывается, что в старые басни он не верит; а если это вылощенный джентльмен, то он изо всех сил старается показать вам, что он душа-человек, а не постный церковнослужитель. Вот и приходится самому разгадывать все загадки.

Цыпка. Да поможет бог той женщине, которая за тебя выйдет; вот все, что я могу сказать. Ты и не мужчина вовсе. (Быстро встает и пытается бежать от него.)

Сержант (тоже встает и крепко обнимает ее). Не мужчина, а? (Целует ее.) Ну, что ты теперь скажешь?

Цыпка (вырываясь, но не слишком решительно). Ну, пусти меня. Ты мне теперь не нужен.

Сержант. Еще как стану нужен, если поцелую тебя разочек-другой. Такова человеческая природа, и религии приходится с этим считаться.

Цыпка. Ну ладно, целуй уж. По крайней мере перестанешь говорить о религии.

Старик (выскакивает из грота на каменную площадку). Остановитесь, безумцы! Вы, сэр, не невежда: вы знаете, что мир обречен на гибель.

Цыпка (прижимается к сержанту). Сумасшедший!

Старик. В этом мире помешанных я один сохранил разум! Сержант (отстраняя Цыпку). Странное дело, как бы мне ни хотелось поцеловать женщину, я скорей дам себя расстрелять, чем поцелую ее при ком-нибудь.

Старик. Сэр, женщины предполагают, что они важнее всего на свете. Но это неверно. Когда мир рушится, пусть женщины молчат, а мужчины пусть станут выше поцелуев.

Сержант, заинтересованный и оробевший, тихо садится на скамейку и сажает Цыпку подле себя. Старик продолжает ораторствовать с фанатическим пылом.

Да, сэр. Мир Исаака Ньютона, который триста лет стоял несокрушимой твердыней современной цивилизации, рухнул перед критической мыслью Эйнштейна, как иерихонские стены[10]. Мир Ньютона был оплотом детерминизма[11]: звезды двигались по своим орбитам, послушные незыблемым законам; и когда, оставив безмерность небесных светил, мы обращались к бесконечно малым атомам, мы убеждались, что электроны движутся по своим орбитам, послушные тем же законам. Во времени каждое мгновение определяло последующее и само определялось предшествующим. Все поддавалось ^исчислению; все свершалось потому, что должно было свершиться. Десять заповедей были стерты со скрижалей божественного закона, их место заняла космическая алгебра, математические уравнения. В этом была моя вера, в этом я обрел догмат непогрешимости, — я, который равно презирал католиков, с их бреднями о свободной воле и ответственности, и протестантов, притязающих на право личного суждения. А теперь, теперь… что осталось от всего этого? Орбита электрона не подвластна закону, он избирает один путь и отвергает другой; он так же своенравен, как планета Меркурий, которая отклоняется от своего пути, чтобы погреться на солнце. Все —прихоть! Мир, поддававшийся исчислению, оказался без меры и числа. Под видом промысла и предопределения самые дикие предрассудки воскресли из мертвых, чтобы сбросить с пьедестала великие умы и увенчать бумажными коронами хвастливых глупцов. Когда, бывало, ссоры с женой или неприятности в делах удручали меня, я искал утешения и бодрости в наших биологических музеях, где я мог забыть житейские заботы, дивясь многообразию форм и окраски птиц, рыб и животных, созданных не единой сознательной волей, а силой естественного отбора. А теперь я не дерзаю переступить порог аквариума, ибо в этих смешных и страшных чудищах, населяющих недра морские, я вижу только творения какого-то демонического художника; мне мерещится некий Зевс-Мефистофель с палитрой и пластилином в руках, старающийся превзойти самого себя в создании причудливых и нелепых тварей, чтобы заселить ими игрушечный Ноев ковчег на забаву своему младенцу. И я, чтобы не потерять рассудок, выбегаю из музея и кричу, как герой этой книги: «Что мне делать, чтобы спастись?» Ничто не может спасти нас от стремительного падения в бездонную пропасть, кроме крепкого фундамента догмы. Но едва мы убеждаемся в этом, как оказывается, что единственная неоспоримая догма — это отрицание догмы. И вот я, стоящий здесь перед вами, падаю в пропасть, падаю, падаю, падаю… Все мы падаем в пропасть. И наш затуманенный мозг не в силах породить ничего, кроме безумия. Моя жена умерла, проклиная меня. А я не знаю, как жить без нее: ведь мы сорок лет были несчастливы друг с другом. Мой сын, которого я воспитал стойким, благочестивым атеистом, стал вором и мошенником. И я ничего не могу сказать ему, кроме: «Иди, сын мой, погибни в мерзости, ибо ни отец твой, ни кто иной не может сказать тебе, ради чего стоит быть честным человеком».

Он поворачивается к ним спиной и уже готов неистово устремиться прочь, но тут из-за «Собора святого Павла» появляется Обри в легком белом костюме и небрежным тоном окликает своего родителя.

Обри. Хэлло, папаша, так это в самом деле вы? То-то мне почудился старый знакомый тромбон; ошибиться я не мог. Каким ветром вас сюда занесло?

Старик (сержанту). Это мой блудный сын.

Обри. Я не блудный сын. Блудный сын был мот и бездельник, который дошел до того, что ел помои вместе со свиньями. Я не нищий, я купаюсь в деньгах. Я никогда никому не должаю. Я примерный сын. Но должен сказать, что вы, к сожалению, отнюдь не примерный отец. Старик. Какое, сударь, ты имеешь право это говорить? В чем я виноват перед тобой?

Обри. Вы пытались воспрепятствовать моему явному призванию. Природа предназначила меня для церкви. Мне пришлось тайно принять сан.

Старик. Принять сан? И ты осмелился это сделать без моего ведома?

Обри. Разумеется. Ведь вы же возражали. Как же я мог это сделать с вашего ведома? Вы перестали бы высылать мне деньги.

Старик (в изнеможении опускается на ближайший камень). Мой сын — священник! Я этого не переживу!

Обри (спокойно садится на другой камень, справа от старика). Ничего, ничего! Отцы многое могут пережить. В университете я стал летчиком. Когда началась война, я, естественно, продолжал это занятие в военно-воздушном флоте. В качестве аса я заслужил довольно аляповатую серебряную медаль за содеянные зверства, несовместимые с саном христианского служителя церкви. После ранения мои нервы сдали, и я стал полковым священником. Мне пришлось говорить смертельно раненным солдатам, что они умирают, осененные благословением божьим, и отправляются прямо в рай, хотя на самом деле они умирали, содеяв смертный грех, и отправлялись в совсем иное место. Дабы искупить это кощунство, я старался по возможности находиться под самым огнем Но и этого мои нервы не выдержали. Я получил трехмесячный отпуск и провел его в госпитале. И тут меня настиг мой рок.

Старик. Какой такой рок? К моему стыду и горю, ты жив и здоров.

Обри. Выражаясь точнее, я встретился с Цыпкой. Познакомьтесь.

Цыпка. Очень рада познакомиться с отцом Попси.

Старик. Моего сына звали Попси в раннем детстве. Когда ему пошел шестой год, я из принципа запретил это. Странно слышать это имя из ваших уст после такого большого перерыва.

Цыпка. Я всегда спрашиваю мужчин, как мама звала их. Тогда они сразу перестают выпендриваться.

Обри (продолжая свой рассказ). Худшей сиделки, чем Цыпка, быть не могло: смертность среди больных повысилась на десять процентов.

Цыпка. Вот уж неправда! Больные умирали из-за других сиделок. Будили их в шесть утра и начинали мыть! Половина больных умирала от простуды.

Обри. Но ты не станешь отрицать, что сиделки красивей тебя там не было?

Цыпка. Ты, во всяком случае, так думал.

Старик. Довольно, замолчите. Я не выношу разговоров на сексуальные темы.

Обри. Во время войны выяснилось, что для раненых и контуженных солдат сексуальный момент не менее важен, чем хороший уход. Вот хорошеньким женщинам и разрешили изображать сиделок, чтобы они присаживались на койки и предохраняли больных от умопомешательства. Цыпка не спасла меня от умопомешательства — наоборот, она свела меня с ума. Я видел в Цыпке не только идеал красоты, но и воплощение всех добродетелей. И она отвечала мне взаимностью. Когда я ушел из госпиталя, она ушла вместе со мной. Меня выписали — как выздоровевшего — третьего числа. Ее выгнали первого того же месяца. Видавший виды персонал госпиталя многое мог вынести, но Цыпки он все-таки не вынес.

Цыпка. Просто все мне завидовали, ты это отлично знаешь Обри. Знаю. Как бы то ни было, мы с Цыпкой поселились вместе, и целых десять дней она была мне верна. Рекордная цифра для нее.

Цыпка. Скажи, Попси, ты собираешься рассказывать всю историю или только часть ее? Графиню Вальбриони это очень интересует.

Обри. Нам незачем скрывать свои поступки, пока это не угрожает нашему карману. Но, может быть, вам надоело слушать меня?

Старик. Доканчивай свою исповедь, сударь. Ты сказал, что поселился вместе с этой леди. Могу я истолковать это в том смысле, что вы муж и жена?

Цыпка. Так бы оно и было, если бы мы могли надеяться на вашу поддержку. Но выйти замуж за полкового священника, без гроша за душой, кроме жалованья? Да еще папаша — атеист!

Обри. Так вот какой у тебя был расчет, Цыпка? А мне и в голову не приходило, что кто-нибудь из нас может думать о браке. Я, во всяком случае, не думал. Я стал жить с тобой просто потому, что без тебя жить не мог. По неправдоподобию этого признания можете судить о степени моей влюбленности.

Цыпка. Нечего ехидничать. Плохо тебе было со мной, скажи?

Обри. Как в раю. Это тоже звучит неправдоподобно, но тем не менее это святая истина.

Старик. Не мысли отделаться от меня шутками, несчастный. Ты сказал, что никому ничего не должен и купаешься в деньгах. Откуда эти деньги?

Обри. Я украл очень ценный жемчуг и вернул его владелице. Она щедро наградила меня. Вот источник моего богатства. Честность — Лучшая политика… иногда.

Старик. Хуже даже, чем священник! Вор!

Обри. Зачем поднимать крик из-за пустяков?

Старик. По-твоему, кража жемчужного ожерелья — пустяк? Обри. Меньше, чем пустяк, — ничто по сравнению с тем, что я делал с вашего одобрения. Я был еще почти мальчиком, когда в первый раз сбросил бомбу на спящую деревню. Я после этого всю ночь проплакал. Потом я прошел на бреющем полете вдоль улицы и выпустил пулеметную очередь по толпе мирных жителей: женщины, дети и прочее. В этот раз я уже не плакал. А теперь вы мне читаете проповедь из-за кражи жемчуга! Вам не кажется, что это несколько комично?

Сержант. То была война, сэр.

Обри. То был я, сержант! Я! Нельзя делить мою совесть на департамент войны и департамент мира. Неужели вы думаете, что человек, совершающий убийство из политических побуждений, остановится перед тем, чтобы совершить кражу из личных побуждений? Вы думаете, что можно сделать человека смертельным врагом шестидесяти миллионов его ближних, не сделав его при этом менее щепетильным по отношению к ближайшему соседу.

Старик. Ничего я не одобрял. Будь я призывного возраста, я из принципа отказался бы идти в армию.

Обри. О, вы от всего отказывались из принципа, даже от бога. Но моя мать была энтузиасткой: вот почему вы так плохо с ней ладили. Она заставила бы меня пойти на войну, если бы я сам не пошел. Она заставила пойти моего брата, хотя он не верил ни одному слову из той лжи, которой нас пичкали, и не хотел идти. Он погиб. И когда потом оказалось, что он был прав и что мы, как, дураки, убивали друг друга ни за что ни про что, у нее не хватило сил продолжать жить, и она умерла.

Сержант. Ну, знаете, сэр, я никогда бы не позволил своему, сыну так разговаривать со мной. Не давайте ему золи. Покажите, что вы детерминист, сэр.

Старик (порывисто вставая). Детерминизм погиб, разрушенный, погребенный вместе с сотнями мертвых религий, рассеянный вместе с бурями миллиона забытых зим. Наука, в которую я верил, потерпела крах: ее басни бессмысленней всех чудес церкви, ее жестокости страшнее пыток инквизиции. Не просвещение распространяла она, а губительный яд. Ее заветы, которым надлежало водворить рай на земле, довели Европу до самоубийства. А я — я, который верил в науку, как ни один фанатик не верит в религиозные суеверия!.. Ради нее я помогал разрушать веру миллионов людей, исповедующих сотни разных религий. Смотрите на меня и созерцайте величайшую трагедию атеиста, утратившего веру — веру в атеизм, за которую погибло больше мучеников, чем за все вероучения вместе взятые. Вот я стою, немой, перед моим сыном-негодяем. Ибо, друг мой, это так: ты самый обыкновенный негодяй, и больше ничего.

Обри. Ну и что же? Если я сделаюсь честным человеком, я буду бедняком. Никто не станет уважать меня, никто не похвалит, никто не поблагодарит. И наоборот, если я буду дерзок, нагл, жаден, удачлив, богат — все будут уважать меня, хвалить, охаживать, улещать. Тогда я, конечно, смогу позволить себе роскошь быть честным. Эту истину я постиг благодаря моему религиозному воспитанию.

Старик. Как ты смеешь говорить о религиозном воспитании? От этого, по крайней мере, я тебя уберег.

Обри. Это вы только так думали, папаша. Но вы забыли про мою мать.

Старик. Что такое?

Обри. Вы запретили мне читать Библию, но моя мать заставляла меня заучивать по три стиха в день и била меня, если я путал слова. Она грозилась еще сильнее избить меня, если я расскажу вам об этом.

Старик (словно пораженный громом). Твоя мать!!!

Обри. Так я затвердил урок: шесть дней трудись, на седьмой отдыхай. Я потружусь еще шесть лет, а потом уйду на покой и стану святым.

Старик. Святой! Лучше скажи — погибший сын неисправимо суеверной матери. Уйди сейчас из жизни, которую ты осквернил. Вот море. Иди утопись. На этом кладбище нет лживых эпитафий. (Возвращается в свой грот и снова предается глубочайшему отчаянию.)

Обри (невозмутимо). Лучше мне стать святым. Тысячу-другую на больницы — и любая политическая партия из своих фондов купит мне венчик размером с Цыпкину шляпу. Вот моя программа. Что вы можете возразить против нее?

Сержант. Нельзя назвать это программой джентльмена, сэр, насколько я понимаю.

Обри. В наши времена, сержант, нельзя быть джентльменом меньше, чем на пятьдесят тысяч в год.

Сержант. В армии можно, уверяю вас.

Обри. Да. Потому что в армии сбрасывают бомбы на спящие деревни. И даже там, чтобы быть джентльменом, нужно иметь офицерский чин. Вы джентльмен?

Сержант. Нет, сэр. Это обошлось бы мне слишком дорого. Не по карману.

Шум за сценой. Слышны жалобы и причитания. Это голос пожилой леди — миссис Мonли. Она преследует полковника Толбойса, идущего через проход к берегу; в состоянии полной невменяемости она цепляется за его руку, пытаясь удержать его; он, тоже вне себя, вырывается от нее. Она в черном туалете, словно на прогулке в окрестностях Лондона, но на голове у нее пробковый шлем. У него через плечо ящик с красками, под мышкой — мольберт, в правой руке — небрежно свернутый внушительных размеров зонтик, оранжевый, с красной каймой.

Миссис Мопли. Не хочу иметь терпение! Не хочу успокоиться! Мое дитя убивают!

Толбойс. Говорят вам, никто ее не убивает. Убедительна прошу вас извинить меня, я должен заняться неотложным делом.

Миссис Мопли. Ваше дело спасти мою дочь! Она голо дает.

Толбойс. Глупости. Никто здесь не голодает. Повсюду растут финики. Убедительно прошу вас…

Миссис Мопли. И вы думаете, что моя дочь может жить одними финиками? Ей нужна камбала к завтраку, чаша питательного бульона в одиннадцать часов, отбивная котлета и телячья печенка к обеду, пинта мясного экстракта к чаю, курица и холодная баранина или телятина…

Толбойс. Я вас убедительно прошу…

Миссис Мопли. Моя бедная, слабенькая девочка — и вдруг — питаться финиками! А она последнее оставшееся мне дитя; они все были слабенькие…

Толбойс. Простите, но мне пора: (Вырывается от нее и бежит по берегу мимо «Приюта любви».)

Миссис Мопли (бросаясь за ним вдогонку). Полковник, полковник! Вы могли бы хоть для приличия выслушать убитую горем мать. Полковник! Моя дочь умирает! Может быть, она уже умерла… И никто ничего не делает, никто об этом не думает. О боже мой, да послушайте же!.. (Голос ее замирает в отдалении.)

Пока все безмолвно смотрят вслед удаляющейся чете, в проходе появляется больная, все в том же наряде туземной рабыни, но несколько более пышном.

Больная. Мой сон превратился в кошмар: моя мать настигла меня на этом пустынном берегу. Я не могу, отвергнуть ее; ни одна женщина не может отвергнуть свою мать. Не должно бы быть матерей. Должны быть только женщины, сильные женщины, способные стоять на ногах, ни за кого не цепляясь. Я убила бы всех слабых женщин. Матери цепляются, дочери цепляются… Мы все словно пьяницы, цепляющиеся за фонарный столб. Никто из нас на ногах не держится.

Старик. Величайшее утешение, если есть за кого цепляться Величайшее одиночество — стоять одному.

Больная. Что? (Вскарабкивается на площадку и заглядывает в «Собор святого Павла».) Ого! Отшельник, изрекающий истины. (Обращаясь к Обри.) Кто это?

Обри. Некто, не многим лучше матери: отец.

Старик. Глубоко несчастный отец.

Обри. Короче говоря — мой отец.

Больная. Если бы у меня был отец, который ограждал бы меня от забот моей матери! Ах, почему я не сирота!

Сержант. Будете, мисс, если старая леди не отстанет от полковника. Она пристает к нему все утро, с самого своего приезда; а я знаю полковника, он с норовом: когда вспылит. взрывается не хуже бомбы. Вот увидите, он ее убьет, если она очень доймет его.

Больная. Пусть убьет. Я молодая и сильная. Мне нужен мир без родителей; в моих снах для них нет места. Я хочу основать секту сестер.

Обри. Отлично, Мопс! Офелия[12], иди в монастырь.

Больная. Не обязательно монастырь, если мужчины способны не испортить все сразу. Но в нашей секте все женщины должны быть богаты, угрюмой бедности не должно быть места. Среди нас немало богатых женщин, которые, как я, не хотят, чтобы их заедали паразиты.

Обри. Довольно. Ваше воображение всегда подсказывает вам тошнотворные образы. Я не выношу интеллектуальной грубости. Я могу простить и даже оценить Цыпкину вульгарность. Но вы говорите отвратительные вещи, которые застревают в моей памяти и угнетают меня. Я больше не могу. (Сердито встает и хочет пройти мимо «Приюта любви»).

Цыпка. Какой нежный, скажите пожалуйста! Если бы горничные были такие нежные, как ты, тебе пришлось бы самому выливать ночную посуду.

Обри (отпрянув от нее с возгласом отвращения). Не тычь ею мне в лицо, дрянь ты этакая! (Обиженно садится на прежнее место.)

Старик. Молчи, сын мой. Это житейская мудрость. Тебе полезно послушать. (Обращаясь к больной.) Разрешите узнать, в каких отношениях вы с моим сыном? Вы. по- видимому, знаете друг друга.

Больная. Попси украл мой жемчуг и уговорил меня бежать с ним; он сказал замечательную речь о свободе, о солнце и красотах природы. Цыпка заставила меня все это записать и продать одному туристскому агентству в качестве рекламы. А потом меня стали заедать паразиты — туристские агентства, пароходные общества, железнодорожные компании, автомобильные фирмы, содержатели отелей, портные, прислуга — все хотели выдоить из меня деньги: продавали мне совершенно ненужные вещи или гоняли по всему земному шару, чтобы я полюбовалась «чужими небесами», как они выражаются, хотя отлична знают, что всюду одно и то же небо. При этом за меня делалось все то, что я, для сохранения своего здоровый должна была бы делать сама. Они терзали меня, кая хищники свою добычу, они уверяли, что дают мне счастье, а я только при помощи пьянства и наркотиков,—накачиваясь коктейлями и кокаином,—могла выносить эту жизнь.

Обри. Мне очень жаль, Мопс, но я должен сказать, что в вас нет задатков настоящей леди. (Встает и садится на гой камень, поодаль.)

Больная. Глупости! Леди — это вещь, не существующая в природе. У меня задатки хорошей экономки. Я хоте очистить этот захламленный мир и держать его в чистоте. Должно быть, есть и другие женщины, которые хотят того же. В Крымскую кампанию именно это побудило Флоренс Найтингел пойти в сестры. Она мечтала об ордене сестер, но такого не оказалось.

Старик. Их было несколько. Но, к несчастью, они все по­грязли в суеверии.

Больная. Да, они придерживаются идей, в которые я не верю. Чтобы примкнуть к ним, нужно отстраниться от всех других женщин. Я не хочу ни от кого отстраняться. Я хочу, чтобы в мою секту вступали все женщины, а остальных надо удушить.

Старик. Падают! Падают! Даже молодые сильные, богатые, красивые чувствуют, что их увлекает в бездонную пропасть.

Сержант. Простите меня, мисс, но ваш круг — это только маленький уголок мира. Если вам не по вкусу общество офицеров, вы можете водить компанию с рядовыми. Посмотрите на Слаба! Он мог бы стать императором, если бы захотел, но он предпочитает оставаться рядовым: ему так больше нравится.

Больная. Я не принадлежу к сословию бедных и не желаю принадлежать. Я всегда знала, что на свете есть тысячи бедняков; и меня научили верить, что их бедность — это божья кара за то, что они грязные, нечестные, пьяные и не умеют читать и писать. Но я не знала, что богатые несчастны. Не знала, что я несчастна. Не знала, что наша респектабельность — высокомерие и снобизм, а наше благочестие — алчность и себялюбие и что они иссушили мою душу. Теперь я это знаю. Я постигла самое себя — во сне.

Старик. Вы молоды. Вы можете встретить достойного человека, который исцелит вас и даст вам несколько лет счастья. Когда вы полюбите, жизнь покажется вам сладостной.

Больная. Я полюбила. Вот этого субъекта. И хотя я никогда не была горничной в отеле, он надоел мне скорей, чем Цыпке. Любовь приносит людям затруднения, а не устраняет их. Не хочу больше возлюбленных, хочу содружество сестер. С тех пор как я здесь, мне хочется вступить в армию, как Жанна д’Арк. Это тоже своего рода содружество.

Сержант. Да, мисс, это именно так. В армии, бывало, наслаждаешься душевным покоем, какого не найти нигде на свете. Но война положила этому конец. Видите ли, мисс, я считаю, что основной принцип военного дела заключается в том, что люди, которые знают, что надо, убивают тех, кто не знает, что надо. Этим держится мир. Когда солдат поступает согласно этому принципу, он выполняет волю божью, чему меня всегда учила моя мать. Но совсем другое дело убивать человека только потому, что он немец, или быть убитым только потому, что ты англичанин. В тысяча девятьсот пятнадцатом году мы не убивали тех, кого следовало; даже нельзя сказать, что мы убивали тех, кого не следовало: просто люди убивали друг друга ни за что ни про что.

Больная. Ради забавы?

Сержант. Нет. мисс, это была плохая забава: не смех, а слезы. -

Больная. Тогда, значит, из озорства?

Сержант. Из озорства дьяволов, которые управляют этим миром. А у тех, кто убивал, даже и такой радости не было: что за удовольствие вставлять запал или дергать шнур, когда вся дьявольщина произойдет на расстоянии от трех до сорока миль и ты даже знать не будешь, просто ли ты сделал яму в земле или взорвал люльку вместе с ребёнком, как две капли воды похожим на твоего собственного? Это не озорство, а несчастье. Нет, мисс, военное дело уже не имеет настоящей почвы. Я понимаю, что хочет сказать этот джентльмен, когда говорит о падении в бездонную пропасть. У меня тоже такое чувство.

Старик. Все мы заблудшие души.

Больная. Нет, всего только заблудившиеся псы. Не унывай; старик. Заблудившийся пес всегда находит дорогу домой.

За сценой снова слышен голос пожилой леди.

Ох, это опять она!

Миссис Мопли все еще преследует полковника; Толбойс молча и решительно уходит от нее, губы его сжаты, и все лицо угрожающе неподвижно.

Миссис Мопли. Вы мне даже не отвечаете. Это возмутительно. Я пошлю правительству телеграмму с жалобой на вас. Вы назначены сюда, чтобы освободить мою дочь из рук этих ужасных разбойников. Почему ничего не делается? В каких вы отношениях с этой невозможной графиней, с которой давно пора содрать графскую корону? Вы все сговорились убить мое последнее любимое дитя Вы в заговоре с разбойниками. Вы…

Полковник оборачивается как затравленный зверь, и со всего размаха опускает свой зонтик на шлем бедной миссис Мопли.

Ай! Ай! Ай! Ай! (С коротким, отрывистым криком, пошатываясь и спотыкаясь она плетется вдоль берега, пока не скрывается из виду )

Общее смятение. Все с ужасом смотрят на Толбойса. Сержант от изумления встает со скамьи и вытягивается перед полковником.

Больная. О, если бы кто-нибудь сделал это двадцать лет назад, какое у меня было бы детство! Но надо посмотреть, что с бедной старушкой. (Бежит за матерью.

Обри. Полковник разрешите выразить вам наше полное, искреннее и безоговорочное сочувствие. От души благодарим вас. Но это не меняет того факта, что мужчина, поднявший руку на женщину, недостоин называться британцем.

Толбойс. Я это отлично знаю, сэр. Можете не напоминать. Миссис Мопли имеет право требовать моих извинений Она их получит.

Старик. А вы не думаете, что возможен серьезный ущерб…

Толбойс (обрывая его). Мой зонтик не пострадал, благодарю вас. Инцидент исчерпан. (Садится перед «Собором святого Павла» на камень, который раньше занимал Обри Его поведение так решительно, что никто не осмеливается продолжать разговор на эту тему.)

Пока они, потрясенные разразившейся катастрофой, сидят в тягостном молчании, то ища, то избегая взглядов друг друга, издали доносится шум, похожий на трескотню пулеметной очереди; по мере приближения он становится все громче и отрывистей. Все затыкают уши. Шум слегка утихает, потом внезапно нарастает до оглушительного дребезжания и обрывается.

Слаб!

Обри. Слаб!

Цыпка. Слаб!

Старик. Что это? Почему вы все говорите «слаб»?

Слаб, весь в грязи и пыли, с сумкой, полной бумаг, энергичными шагами идет по проходу.

Толбойс. Скажите, Слаб, вы не можете обойтись мотоциклом нормальной мощности? Вам непременно нужно мчаться со скоростью восемьдесят миль в час?

Слаб. Я привез вам приятную новость, полковник, а приятные новости торопятся.

Толбойс. Мне?

Слаб. Награждение орденом Бани, сэр. (Передает бумагу.) Постановление получено радиограммой.

Толбойс (обрадованный, встает с места и берет бумагу). A-а! Ну, поздравляйте меня, друзья! Наконец-то моя Сара стала леди Толбойс! (Садится и углубляется в изучение бумаги.)

Обри. Великолепно!

Сержант (вместе). Вы заслужили эту награду, сэр!

Цыпка. Я так рада за вас!

Старик. Смею ли узнать, сэр, за какие заслуги вы удостоены столь высокой награды?

Толбойс. Я выиграл битву хлопушек. Я подавил деятельность здешних разбойников. Я вырвал из их рук английскую леди. Правительство готовится ко всеобщим выборам, и мои скромные достижения должны послужить ему во славу.

Старик. Разбойники? И много их здесь?

Толбойс. Ни одного.

С т а р и к. Так как же… А английская леди, которую вы вырвали из их рук?..

Толбойс. Она все время была в моих руках, в полной безопасности.

Старик (все с большим недоумением). О-о! А битва хлопушек…

Толбойс. Ее выиграл рядовой Слаб. Я тут совершенно ни при чем.

Обри. Разбойников и английскую леди выдумал я. (Обращаясь к Толбойсу.) Кстати, полковник, представительный старец у алтаря — мой отец.

Толбойс. Вот как! Рад познакомиться, сэр, хотя по поводу вашего сына не могу сказать вам ничего лестного, разве только, что вы произвели на свет такого бессовестного лгуна, какого я в жизни не видел.

Старик. А позвольте спросить, сэр, намерены ли вы не только простить моему сыну обман, но и воспользоваться им, чтобы принять награду, которой вы не заслужили?

Толбойс. Я заслужил ее, сэр, десять раз заслужил! Вы думаете, если разбойников, за усмирение которых меня наградили, не существует, то я никогда не усмирял разбойников? Вы забываете, что, хотя это сражение, успех которого приписывается мне, выиграно моим подчиненным,— я тоже выигрывал сражения и видел, как все почести доставались какому-нибудь генералу, даже не знающему, в чем дело. В армии всегда так, и в конце концов получается одно на одно: награда за заслуги приходит со временем. Справедливость — всегда справедливость, хотя она приходит с опозданием, и то по ошибке. Сегодня мой черед; завтра настанет черед рядового Слаба.

Старик. А пока что мистер Слаб, этот скромный и достойный воин, останется бедным и безвестным солдатом, в то время как вы будете кичиться своим орденом Бани.

Толбойс. Как я ему завидую! Взгляните на него и взгляните на меня! Я несу все бремя ответственности, между тем как руки у меня связаны, тело расслаблено, мозг иссушен, потому что полковник не должен делать ничего, кроме как отдавать приказания и иметь значительный вид, хотя бы голова его в это время была как пустой котел! А он волен приложить руку ко всему, к чему захочет, и иметь вид идиота, когда он чувствует себя таковым! Меня довели до акварельной живописи, потому что мне запрещено делать повседневное полезное дело. Командующий воинской частью не должен делать того, не должен делать другого, не должен делать третьего, он не должен делать ничего, кроме как заставлять делать все это своих людей. Даже общаться с ними не должен. Я вижу, как солдат Слаб делает все, что естественно делать настоящему мужчине: плотничает, красит, копает землю, таскает тяжести, помогает себе и всем окружающим, а я, обладающий большей физической силой и не меньшей энергией, должен скучать и томиться, потому что мне разрешается только читать газеты и пить коньяк с водой, чтобы не сойти с ума. Если бы не живопись, я спился бы с круга. С какой радостью я променял бы свой оклад, свой чин, свой орден Бани на бедность Слаба, на его безвестность!

Слаб. Но, дорогой полковник… виноват — сэр… я хочу сказать, что и вы можете стать рядовым. Ничего нет легче. Я делал это неоднократно. Вы подаете в отставку, меняете свою фамилию на какую-нибудь очень распространенную, красите волосы и на вопрос сержанта, записывающего новобранцев, о возрасте отвечаете: двадцать два. И все! Можете выбрать себе любой полк.

Толбойс. Не следует искушать начальство, Слаб. Вы, бесспорно, превосходный солдат. Но скажите, подвергалось ли ваше мужество последнему, тягчайшему испытанию?

Слаб. Какому, сэр?

Толбойс. Вы женаты?

Слаб. Нет, сэр.

Толбойс. Тогда не спрашивайте меня, почему я не подаю в отставку и не превращаюсь в свободного, счастливого солдата. Жена не допустит этого.

Графиня. А почему бы вам не стукнуть ее зонтиком по голове?

Толбойс. Боюсь. Бывают минуты, когда я мечтаю о том, чтобы это сделал кто-нибудь другой. Но только не при мне. Я убил бы его.

Старик. Все мы рабы. Но, по крайней мере, ваш сын честный человек.

Толбойс. Да? Рад слышать. Я не видел его с начала войны: он уклонился от службы в армии и занялся подрядами. Он так чудовищно разбогател, что я не могу позволить себе поддерживать с ним знакомство. И вам незачем поддерживать знакомство с вашим сыном. Кстати, он выдает себя за сводного брата этой леди, графини Вальбриони.

Цыпка. К черту Вальбриони! Меня зовут Сюзэн Симпкинс. Мало радости быть графиней. Ни разнообразия, ни сильных ощущений. Я хочу только одного: дайте сержанту месячный отпуск. Дадите, полковник?

Толбойс. Зачем?

Цыпка. Это не важно. Можно и двухнедельный, сейчас я не могу сказать точно. В нем есть что-то успокаивающее; а ведь мне когда-нибудь надо остепениться.

Толбойс. Глупости! Сержант — человек набожный, он вам не пара. Правда, сержант?

Сержант. Видите ли, сэр. Мужчине нужна женщина, чтобы он поменьше думал о женщинах. Нельзя читать без помехи Библию, если мысли разбегаются и перед глазами всякие видения. А набожному человеку лучше не брать набожную жену: оба в одном ремесле — ладу не бывать; а кроме того, у детей будет односторонний взгляд на жизнь. Жизнь, сэр, штука сложная: не все в ней благочестие и не все в ней веселье. У этой молодой женщины нет совести, но моей хватит на двоих. У меня нет денег, но у нее как будто хватит на двоих. Заметьте: я не связываю себя, но я все же могу сказать, что я не окончательно против. В этом суетном мире — а нам, как-никак, приходится в нем жить, сэр, — меня влечет к ней.

Обри. Берегитесь, сержант. Цыпка постоянством не отличается.

Сержант. А я что? Я человек военный, холостяк, женщины так и льнут. Если я женюсь на ней, другие уж не сунутся. А мне надоело путаться то с одной, то с другой. Цыпка. Откровенно говоря, и мне надоело. Мы созданы друг для друга, сержант. Правда?

Сержант. Ну, что ж, Сюзэн, я не прочь попробовать. Увидим, как мы с тобой поладим.

Слышен голос миссис Мопли. Она говорит решительным и даже угрожающим тоном, звук ее голоса быстро приближается.

Миссис Мопли (за сценой). Отстаньте от меня! Никто не просил вас вмешиваться. Убирайтесь.

Лица присутствующих выражают страх и уныние. Миссис Мопли появляется на берегу и энергичным шагом приближается к ним. Она подходит прямо к полковнику и хочет заговорить с ним, но он с твердостью встает со своего места и заговаривает первым.

Толбойс. Миссис Мопли, я должен немедленно исполнить свой долг по отношению к вам. Во время нашей последней встречи я вас ударил.

Миссис Мопли. Ударили? Вы проломили мне голову. Вы это имеете в виду?

Толбойс. Если вы считаете, что я неточно выразился, я готов согласиться с вами. Допустим, что я проломил вам голову. Так вот, я кругом виноват и приношу вам свои извинения. Если желаете, я могу это сделать в письменной форме.

Миссис Мопли. Хорошо. Раз вы выражаете свое сожаление, больше, я думаю, говорить не о чем.

Толбойс (нахмурившись). Простите, я принес свои извинения, но сожаления я не выражал.

Обри. Ради бога, полковник, не связывайтесь с ней. Не комментируйте свои извинения.

Миссис Мопли. А вы кто такой? Извольте молчать!

Толбойс. Я ничего не комментирую. Я признаю, что кругом виноват, и принес свои извинения. Миссис Мопли имеет на это право: мой поступок ничем нельзя оправдать. Но ни одна дама, ни одно живое существо не имеет права принудить меня ко лжи: я не сожалею о том, что сделал. Я не могу припомнить ни одного поступка, который принес бы мне такое полное, глубокое удовлетворение. Когда я был ротным командиром, я однажды зарубил противника во время боя; не заруби я его, он зарубил бы меня. Это не принесло мне удовлетворения: я чуть ли не испытывал стыд. Я никогда никому об этом не говорил. Но на этот раз я ударил с полным удовольствием. Я даже благодарен миссис Мопли: я обязан ей одной из редчайших, приятнейших минут моей жизни.

Миссис Мопли. Нечего сказать! Как вам нравится такое извинение?

Толбойс (твердо). Я ничего не могу прибавить, сударыня.

Миссис Мопли. Ну, ладно, старый хрен, я вас прощаю.

Сенсация. Все в ужасе смотрят друг на друга. Входит больная.

Больная. Мне очень жаль, полковник Толбойс, но должна сказать вам, что вы повредили мозги моей матери: она не верит, что я ее дочь. Я просто не узнаю ее.

Миссис Мопли. Вот как? А ты знаешь, какая я по-настоящему? Мне всегда лгали — и мне приходилось делать вид, что я совсем другая, чем на самом деле.

Толбойс. Кто вам лгал, сударыня? Я не давал таких распоряжений.

Миссис Мопли. Я не о вас говорю. Моя мать лгала мне. Моя няня лгала мне. Моя гувернантка лгала мне. Все лгали мне. Мир совсем не такой, каким они его изображали. Я совсем не такая, какой они меня изображали,— приходилось быть такой. Я думала, что нужно делать вид, а вовсе не нужно было.

Старик. Еще одна жертва! И она тоже падает в бездонную пропасть!

Миссис Мопли. Я не знаю, ни кто вы такой, ни что вы хотели сказать, но вы попали в самую точку: я просто не знаю, на каком я свете. Почему мне говорили, что дети не могут жить без лекарств и должны есть мясо три раза в день? Знаете ли вы, что я погубила двоих детей только потому, что мне так говорили! Своих собственных детей! Просто-напросто убила их!

Старик. Медея! Медея[13]!

Миссис Мопли. Это не идея, это сущая правда. Никому больше верить не буду. Я убила бы своего последнего оставшегося в живых ребенка, если бы она не сбежала от меня. Мне говорили, что я должна жертвовать собой, жить для других. И я так и делала, видит бог. Мне говорили, что все будут любить меня за это; и я думала, что так оно и будет. Но моя дочь сбежала от меня — после того как я стольким жертвовала ради нее, что иногда желала ей смерти, лишь бы хоть немного передохнуть. А теперь оказывается, что не только моя дочь ненавидела меня, но что все мои друзья, постоянно выражавшие мне сочувствие, просто жаждали дать мне зонтиком по голове! Бедняга полковник сделал только то, что сделал бы любой из них, если бы посмел. Я чистосердечно сказала, что прощаю вас; я вам даже признательна. (Целует Толбойса.) Но что же мне теперь делать? Как жить в мире, в котором все не так, как мне говорили, а совсем наоборот?

Больная. Успокойся, мама, успокойся! Сядь вот сюда. (Поднимает тяжелый камень и кладет его возле «Приюта любви».)

Миссис Мопли (садясь на камень). Не называйте меня мамой. Разве моя дочь могла бы таскать такие глыбы? Ведь она звала сиделку, когда хотела взять на колени свою собачонку. Вы подлизываетесь ко мне, выдавая себя за мою дочь; но это только доказывает вашу глу- посте, потому что я ненавижу мою дочь и моя дочь ненавидит меня — за то, что я жертвовала собой ради нее. Она была противная, себялюбивая девчонка, вечно больная, капризная; сколько ни старайся, ничем ей не угодишь. За всю свою жизнь она только раз поступила разумно, когда украла свой собственный жемчуг, продала его и сбежала, чтобы истратить деньги на себя. Она, вероятно, где-нибудь лежит в постели, а дюжина сиделок и полдюжины врачей пляшут вокруг нее. Слава богу, вы ничуть на нее не похожи, вот почему вы мне и нравитесь. Поедем ко мне, дорогая. У меня куча денег, и мне нужно наверстать шестьдесят лет испорченной жизни, — так что вы со мной не соскучитесь. Вы будете моей спутницей, и давайте забудем, что на свете существуют матери и дочери.

Больная. Но какая польза будет нам друг от друга?

Миссис Мопли. Никакой, слава богу! Ничто не помешает нам разойтись, если не уживемся.

Больная. Идет! Возьму вас на испытание, а пока осмотрюсь немного и решу, что мне делать. Но помните — только на испытание.

Миссис Мопли. Понятно, дорогая! Мы обе будем на испытании. Итак, решено.

Больная. А теперь, мистер Слаб, как насчет моего поручения, которое вы обещали исполнить? Принесли паспорт?

Графиня. Ваш паспорт? Зачем?

Обри. Что вы затеяли, Мопс? Вы хотите бросить меня? Слаб выходит вперед, высыпает из своей сумки на песок целую груду паспортов, становится на колени и начинает искать паспорт больной.

Толбойс. Что это значит? Чьи это паспорта? Что вы с ними делаете? Откуда вы их взяли?

Слаб. На пятьдесят миль в окружности все просят достать им визу.

Толбойс. Визу? В какую страну?

Слаб. В Беотию, сэр.

Толбойс. Беотия?

Слаб. Так точно, сэр. Федеративное Объединение Разумных Общин — ФОРО[14]. Все стремятся туда, сэр.

Графиня. Вот это да!

Старик. А что же будет с нашим несчастным отечеством, если все жители покинут его ради какой-то чужой страны, где даже собственности не уважают?

Слаб. Не бойтесь, сэр: они нас не хотят. Они больше не будут пускать к себе англичан, сэр. Они говорят, что их сумасшедшие дома уже переполнены. Я ни для кого не мог достать визы. Только одну (обращаясь к полковнику) — для вас.

Толбойс. Для меня? Какая наглость! Я же не просил. Слаб. Так точно, сэр. Но там у всех столько свободного времени, что они только и думают, чем бы заняться, чтобы от безделья не натворить чего-нибудь. Они хотят организовать у себя единственное английское учреждение, которым они восхищаются.

Старик. Какое же именно?

Слаб. Английскую школу акварельной живописи, сэр. Они видели работы полковника, и, если он захочет обосноваться там, его сделают начальником парков культуры и отдыха.

Толбойс. Это неправда, Слаб. Ни одно правительство не способно на такой разумный шаг.

Слаб. Правда, сэр! Уверяю вас.

Толбойс. Но моя жена…

Слаб. Так точно, сэр, я сказал им. (Укладывает паспорта в сумку.)

Толбойс. Ну, что же, нам остается только вернуться на родину.

Старик. А может наша родина вернуться к разумной жизни, сэр? Вот в чем вопрос.

Толбойс. Спросите Слаба.

Слаб. Ничего не выйдет, сэр: все английские рядовые хотят стать полковниками, а для выскочек спасенья нет. (Обращается к Толбойсу.) Прикажете отправить экспедиционный отряд в Англию, сэр?

Толбойс. Да. И достаньте мне два тюбика краплака и пузырек белой китайской туши.

Слаб (уходя). Слушаю, сэр.

Старик. Стойте! В Англии существует полиция. Что там будет с моим сыном?

Цыпка (вставая). Сделайте из него проповедника, старикан. Только дайте нам раньше уйти.

Старик. Проповедуй, сын мой, сколько твоей душе угодно. Делай что хочешь, только не воруй и не оправдывай свои гражданские прегрешения прегрешениями военными. Пусть люди называют тебя «ваше преподобие», пусть называют по-всякому — лишь бы не вором.

Обри (вставая). Я позволю себе воспользоваться случаем…

Всеобщая паника. Все вскакивают со своих мест, за ис­ключением больной, которая восторженно аплодирует, злорадно поощряя оратора.

Вместе:

Миссис Мопли. Молчите, молодой человек!

Цыпка. О, боже! Мы пропали!

Старик. Молчаливое покаяние больше приличествовало бы тебе, сударь!

Больная. Говорите, говорите, Попс! Вы только это и умеете

Обри (продолжает). Для меня ясно, что, хотя мы все, по-видимому, спокойно расходимся с намерением заняться весьма обыденными делами: Цыпка и сержант — собираются сочетаться браком…

Сержант торопливо выскальзывает из грота, делая Цыпке знаки следовать за ним; оба убегают вдоль берега.

…полковник — вернуться к своей жене, к своей живописи, к своему ордену Бани…

Полковник бесшумно удирает в противоположную сторону.

Наполеон-Александр Слаб намерен отправить экспедиционный отряд обратно на родину…

Слаб убегает по проходу.

Мопс, подобно святой Терезе,—основать орден сестер, где мать ее будет поварихой и экономкой…

Миссис Мопли торопливо уходит за сержантом таща за собой больную, которая зачарованно слушает Обри.

Но все они, подобно моему отцу, падают, падают, бесконечно и безнадежно, сквозь пустоту, где им не за что удержаться.

Старик исчезает в «Соборе святого Павла», предоставляя своему сыну проповедовать в одиночестве.

В них во всех есть что-то фантастическое, что-то нереальное и противоестественное, что-то неблагополучное. Они слишком нелепы, чтобы можно было поверить в их существование. Но они и не вымысел: в газетах только и пишут, что о них. Какой рассказчик, будь он самый бессовестный лжец, осмелился бы выдумать таких неправдоподобных героев, как люди с обнаженной душой? Обнаженное тело уже не шокирует нас: с обложек летних номеров иллюстрированных журналов на нас, весело ухмыляясь, смотрят купальщики — голей гола. Но страшного зрелища обнаженной души мы все еще не в состоянии вынести. Вы можете сорвать с себя последний лоскут вашего купального костюма, и это не смутит меня и не вызовет краски на вашем лице. Вы можете даже снять наружные покровы с вашей души: хорошие манеры, правила морали, приличия, — богохульствуйте, сквернословьте, пейте коктейли, целуйте, обнимайте, тискайте цветущих восемнадцатилетних девушек, которые к двадцати двум годам превратятся в затасканных полудев. Все это, к ужасу своих отсталых довоенных родителей, делало задорное поколение победы,—и только себе же принесло этим вред. Но как вынести эту новую, страшную наготу — наготу душ, которую люди до сих пор скрывали от своих ближних, драпируясь в возвышенный идеализм, чтобы как-то выносить общество друг друга? Железные молнии войны выжгли зияющие прорехи в этих ангельских одеждах, так же как они пробили бреши в сводах наших соборов и вырыли воронки в склонах наших гор. Наши души теперь в лохмотьях; и молодежь, заглядывая в прорехи, видит проблески правды, которая до сих пор оставалась скрытой. И она не ужасается: она в восторге, что раскусила нас; она выставляет напоказ свои собственные души; а когда мы, старшие, судорожно пытаемся залатать нашу рвань старыми тряпками, молодые накидываются на нас и срывают с нас и эти последние отрепья. Но когда они разденут догола и себя и нас — вынесут ли они это зрелище? Вы видели, как я пытался обнажить душу перед моим отцом; но когда обе молодые женщины сделали это с большей смелостью, чем я, когда старухе сшибли маску с души и она возликовала, вместо того чтобы умереть, — я содрогнулся от этих разоблачений. Меня словно обдало ветром, несущим из неведомых просторов будущего новое дыхание — дыхание жизни, быть может, — но эта жизнь мне не по силам, и ее дыхание для меня смертельно. Я стою на полпути между юностью и старостью, подобно человеку, опоздавшему на поезд: для отошедшего — поздно, для следующего — рано. Так что же мне делать? Что я такое? Солдат, испугавшийся войны? Вор, при первой же крупной краже решивший, что лучшая политика честность, и вернувший добычу владельцу? Природа не предназначила мне быть солдатом или вором: я проповедник от природы и по призванию. Я новый Экклезиаст. Но у меня нет библии, нет символа веры: война выбила то и другое из моих рук. Война была для нас жаркой теплицей, где мы сразу созрели, как цветы поздней весной после лютой зимы. И к чему же это привело? А вот к чему: мы переросли нашу религию, переросли наш политический строй, переросли наши собственные силы — силы ума и сердца. Роковое словечко «не», как бы по волшебству, внедрилось во все наши верования. В поруганных храмах, где мы преклоняли колена, шепча «верую», мы стоим теперь не сгибая колен, а пуще того — не сгибая шеи, и кричим: «Вставайте, все вставайте! Способность стоять прямо — признак человека. Пусть низшие существа ползают на четвереньках, мы не преклоним колен, мы не веруем». Но что же дальше? Разве одного «не» достаточно? Для мальчика — да, для взрослого — нет. Разве мы менее одержимы верой, когда отрицаем ее, чем когда мы ее утверждали? Нет, чтобы проповедовать, я должен утверждать, иначе молодые не станут слушать меня, — ибо и молодые устают от отрицания. Глашатай отрицания отступает перед солдатом, перед человеком действия, перед бойцом, черпающим силу в старых непоколебимых истинах, которые дают ему твердую опору, внушают чувство долга, уверенность в исходе. Воинственный дух, живущий в нем, может наносить смертельные удары, не смущаемый доводами разума. Его путь прям и верен; но это путь смерти, а проповедник должен указывать путь жизни. Если бы я мог найти его!

Из-под его ног поднимается белый туман и наполовину скрывает его.

Я в полном неведении, я потерял мужество, но одно я знаю твердо: я должен найти путь жизни для себя и для нас всех, иначе мы погибли. А пока что мой дар владеет мной: я должен проповедовать и проповедовать, хоть час и поздний, хоть день быстротечен, хоть мне и нечего сказать…

Туман окутал его, проход и гроты скрылись из вида, массивные камни превратились в белые клочья облаков, остался только туман, непроницаемый туман. Но неисправимый проповедник не желает отказаться от финального эффекта, который, если бы мы слышали его явственно, прозвучал бы, вероятно, так:

..А быть может, как в день Пятидесятницы[15], огненный язык откровения почиет на мне, и я, исполнившись Духа, провозглашу благую весть, которая прозвучит по всей земле и откроет нам Царство, Силу и Славу на веки веков. Аминь.

Публика расходится (или читатель откладывает книгу), находясь, чисто по-английски, под впечатлением огненных языков Пятидесятницы и отголосков «Отче наш». Но соловья баснями не кормят. Впрочем, избранные умы знают, что пламя Пятидесятницы никогда не гаснет для тех, кто в состоянии выдержать его страшную силу. Они вспомнят также, что его сопровождает великий ветер и что любой мерзавец, который к тому же еще ветрогон и краснобай, может болтать о нем сколько угодно, не приближаясь к нему и не рискуя быть опаленным. Автор, хоть и болтун по ремеслу, не верит, что мир может быть спасен одной болтовней. Он дал последнее слово негодяю, но ему лично больше всех нравится энергичная женщина, которая начала с того, что чуть не вышибла дух из негодяя, а кончила бодрой уверенностью, что заблудившиеся псы всегда находят дорогу домой. И найдут, должно быть, если женщины выйдут искать их.

КОММЕНТАРИЙ

А.Н.Николюкин

Бернард Шоу приступил к работе над своей второй «политической экстраваганцей». получившей впоследствии название «Горько, но правда»[16]. 3 марта 1931 г., во время путешествия по Средиземному морю. Первоначально предполагалось, что пьеса будет показана уже на очередном Малвернском фестивале в августе, но по ряду причин эти планы осуществить не удалось. Первая, черновая редакция новой комедии была закончена лишь 30 июня 1931 г., за несколько дней до начала исторической поездки Шоу в Советский Союз. Как кажется, этот вариант пьесы вызвал у драматурга определенные сомнения, и ее дальнейшая судьба представлялась ему в самом мрачном свете. Еще в начале июля в одном из писем к Стелле Патрик Кэмпбел он предсказывал, что «Горько, но правда» не ожидает — в противоположность «Тележке с яблоками» — «ни быстрая постановка, ни всеобщий успех»[17].

После возвращения из СССР всю осень и начало зимы 1931/32 г. Шоу продолжал дорабатывать пьесу, внося сначала в рукопись, а затем и в отпечатанный для участников будущей постановки текст многочисленные поправки и уточнения. Эта в общем-то не свойственная драматургу взыскательность, по-видимому, объясняется прежде всего огромной сложностью задачи, которую он поставил перед собой, когда задумывал «Горько, но правда» как своего рода программный манифест, как широкую панораму духовных исканий послевоенного «потерянного поколения», как своего рода реплику на новые веяния в англоязычной литературе 1920-х гг., и в первую очередь на «Опустошенную землю» Т. С. Элиота и «Фиесту» Э. Хемингуэя. Никогда прежде героями Шоу не были люди с кризисным, нигилистическим мироощущением, которое принципиально враждебно его рационалистическим концепциям,—люди, которые утратили веру в бога, низвергли традиционную мораль, восстали против разума, уничтожили прежние идеалы и теперь «падают, падают, бесконечно и безнадежно, сквозь пустоту, где им не за что удержаться». Однако, в отличие от своих более молодых предшественников — Т. С. Элиота, Э. Хемингуэя, О. Хаксли, И. Во, Т. Г. Лоренса и др., произведения которых тематически близки к «Горько, но правда», Шоу смотрит на «потерянное поколение» извне, со стороны, не скрывая своего страха перед «новой, страшной наготой — наготой душ», и поэтому ему удается лишь зафиксировать внешние проявления всеобщего распада, но не понять и объяснить его. Описывая крах «детерминистской вселенной», писатель помещает своих героев в алогичный, абсурдный универсум, где рушатся все опоры человеческого существования и где ничто — ни церковь, ни государство, ни наука, ни творчество, ни внутренние ресурсы личности — уже не в состоянии наделить его смыслом. Соответственно и сама пьеса строится как некое подобие коллажа, составленного из разнородных, даже сюжетом не связанных между собою частей, в каждом из которых возникает еще один лик всеобщего безумия.

В этот хаос голосов и масок, в это переплетение нелепостей и несуразиц Шоу последовательно вводит все новые и новые мотивы, все новый и новый материал, стремясь как можно шире охватить круг представлений и идей, входящих в культурный словарь эпохи. Он заставляет своих персонажей обсуждать модные теории Фрейда и Эйнштейна, он упоминает о резерфордовской модели атома и предсказывает грядущую мировую катастрофу, он размышляет о сексуальной свободе и о психологических травмах фронтовиков, — словом, он всеми силами дает понять, что ни на шаг не отстал от своего времени. Однако все эти «цитаты» из идейного репертуара 1920-х гг. недостаточно органично вписываются в контекст обычных шовианских тем и фарсовых трюков. Действующие лица пьесы, снова, как и всегда у Шоу, выполняющие эмблематичную функцию, с трудом выдерживают возложенную на них нагрузку. Они произносят страстные, полные горечи и отчаяния монологи, которые должны проиллюстрировать умонастроения «потерянного поколения», но в них не хватает той личной причастности, которая отличает молодую литературу 1920-х гг. Собственно говоря, в исканиях своих новых героев Шоу отмечает лишь торжество «низших инстинктов» и душевный эксгибиционизм, и авторская позиция в пьесе часто сближается с точкой зрения Обри — этого «Экклезиаста без библии», который утверждает, что «глашатай отрицания отступает… перед человеком действия… черпающим силу в старых непоколебимых истинах…». Бунт «потерянного поколения» понятен и близок драматургу только когда он совпадав! с его критическим отношением к социальной действительности, когда он разоблачает ложь общепринятых истин, но его глубинный личностный, экзистенциальный смысл остается для Шоу темной, пугающей загадкой. Не случайно наибольшие авторские симпатии в пьесе отданы персонажам, близким к его идеалу Жизненной силы и резко полемическим по отношению к гедонистическому нигилизму,— «людям дела» Слабу и Больной.

Решаемые Шоу задачи потребовали от него некоторых изменений в комедиографической технике по сравнению с «Тележкой с яблоками». С точки зрения поэтики «Горько, но правда» напоминает скорее близкую ей по тональности пьесу «Дом, где разбиваются сердца», чем предыдущую «политическую экстраваганцу» Шоу, ибо для создания комического эффекта драматург использует здесь не только обычные фарсовые «гэги», но и бергсонианские мотивы постоянного несоответствия между социальной ролью персонажа и его человеческим лицом, между функцией и призванием, между механическими движениями автомата и живой жизнью, между видимостью и сущностью. В структуре комедии каждый из ее героев получае! два взаимоисключающих набора признаков, причем один из них совпадает с внешней, социальной его оценкой, а другой — с внутренним, скрытым самосознанием. Так, Больная в действительности оказывается не просто здоровой, но сверхъестественно здоровой и сильной девицей, под маской грабителя и циника прячется моралист-проповедник, рядовой Слаб скрывает в себе таланты полководца, а полковник Толбойс — таланты живописца и т. п.

Особого внимания заслуживают два персонажа пьесы — Старик и Слаб, так как, по замыслу Шоу, зрители должны были узнать в них реальных личностей, которых он считал весьма типичными порождениями кризисной эпохи. Подробная авторская ремарка в начале третьего акта не оставляет никаких сомнений в том, что под видом «высокого худого джентльмена», который восседает у «пещеры святого Павла» в позе, выражающей «безграничное отчаяние», драматург хотел изобразить известного английского теолога, кембриджского профессора и настоятеля собора святого Павла У. Р. Инджа (1860—1954), который за свои мрачные, проникнутые отчаянием проповеди получил прозвище «угрюмый Декан». Современники без особого труда определяли реальное лицо и под шутовской маской рядового Слаба — простака, который не так прост, как кажется. Его прототипом был легендарный авантюрист, разведчик, путешественник, летчик, мотогонщик и писатель Т. Е. Лоуренс (1888-1935), знаменитый Лоуренс Аравийский, автор книги «Семь столпов мудрости» и близкий друг самого Шоу[18]. Широкоизвестные факты бурной биографии Лоуренса, который, имея звание полковника, после выхода в отставку, инкогнито, под псевдонимом Шоу (!), служил рядовым в авиации, были использованы драматургом для создания одной из наиболее парадоксальных ситуаций комедии.

Кроме всего прочего, Лоуренсу суждено было стать первым и, пожалуй, самым доброжелательным критиком пьесы. Еще в июне 1931 г. Шоу прочел ему второй акт «Горько, но правда», где появляется рядовой Слаб, и Лоуренс с похвалой отозвался о своем «портрете», сделав лишь мелкие стилистические замечания. Затем, в начале января 1932 г., Лоуренс познакомился с полным текстом пьесы и откликнулся на нее восторженным письмом к жене драматурга, в котором он дал довольно подробный анализ каждого из трех действий комедии. «Благодаря третьему акту,—писал он,—«Горько, но правда» становится в один ряд с «Домом, где разбиваются сердца» и представляется мне замечательной пьесой. […] По сравнению с «Домом, где разбиваются сердца» в ней больше разнообразия, а от контраста между отдельными частями она только выигрывает. Первый акт — это Моцарт-Шоу, потому что именно так и на такие темы Шоу уже писал прежде. […] Второй акт — бесподобен, других слов у меня нет. Его реализм безукоризненно контрастирует с классицизмом первого акта. Когда я дочитал его до конца, у меня создалось впечатление, что после него любой третий акт должен прозвучать как снижение тона. Ведь к этому моменту пьеса достигает такой высокой ноты, что в ней уже не остается места для финала. Но как же я ошибался! Конец третьего акта буквально ошеломил меня. Этот заключительный монолог Обри даст сто очков вперед шекспировской «Буре»! Не знаю, как он прозвучит со сцены, но при чтении он потряс меня сильнее, чем гениальный монолог Мафусаила, […] Конечно, я ничего не смыслю в театре, но думаю, что лучше чем «Горько, но правда», Шоу для сцены никогда ничего не писал».1

К письму Лоуренса был приложен небольшой перечень предложений и замечаний по тексту пьесы, большинство из которых Шоу учел при подготовке окончательного сценического варианта «Горько, но правда», вскоре изданного ограниченным тиражом для участников английской постановки.

Впервые новая комедия Шоу была, однако, показана не на Британских островах, а в США, где ее поставил нью-йоркский театр «Гилд» (режиссер — Лесли Бэнкс, в главных ролях: Обри — Хью Синклер, Цыпка — Беатрис Лилли, рядовой Слаб — Лео Кэррол). Премьера состоялась 29 февраля 1932 г. в Бостоне, затем спектакль демонстрировался в Вашингтоне, Буффало и Питтсбурге, а 4 апреля театр открыл им свой весенний сезон на Бродвее. Пьеса встретила весьма прохладный, а порой и откровенно враждебный прием как у широкой публики, так и у большинства критиков и очень быстро сошла со сцены. Рецензенты единодушно отнесли провал спектакля главным образом на счет драматурга, обвинив его в «безразличии к форме», а пьесу — в «отсутствии композиции» и «бессвязности»[19][20]. Так, например, известный американский критик Джон Хатчинс отметил, что комедия страдает крайней бесформенностью, и особо подчеркнул, что на этот раз Шоу не удалось как-то компенсировать слабости композиции, ибо в «Горько, но правда» не чувствуется ни богатства мысли, ни остроты сатиры, присущих его предшествующим произведениям, и в частности «Тележке с яблоками». «Когда Шоу бьет мимо цели, что и произошло с «Горько» но правда»,—писал он,— его ждет полнейший провал. Раз уж в последние годы мистер Шоу стал обращаться с театром только как со средством для выражения множества собственных мнений» то ему нечего надеяться» что театр спасет его, когда он нарушает законы» им же самим и введенные. Уступки, на которые ради него шел театр, принимая и его беззастенчиво пренебрежительное отношение к профессиональному мастерству, и его манеру обращаться с персонажами так, будто они служат ему марионетками или рупорами, а не живут собственной жизнью, — все эти уступки легко могут превратиться в серьезные претензии к нему. Стоит только ослабнуть силе его риторики, стоит лишь померкнуть блеску его речей, и вся структура пьесы рушится со звуком рассыпающегося папье-маше.

Почти до самого конца «Горько, но правда» […] ковыляет по заезженной шовианской территории, что приносит пьесе немало вреда. Впрочем, само по себе это еще полбеды. Хотя нам давным-давно известны все эти идеи и мнения, мы бы, несомненно, в очередной раз с удовольствием выслушали знакомые колкости по адресу армии, церкви, британского общества, секса и медицины, будь они отточенно остры, как в лучшие времена. Но здесь, в рамках сюжета, который невероятно, неправдоподобно жидок даже для Шоу, они звучат тяжело и натужно, будто куплеты какого-нибудь либреттиста в жалкой оперетке, и былая легкость язвительных эпиграмм уступает место плеоназмам, а живая энергия — вялому бурчанию».1

Единственной удачей пьесы критик называет лишь заключительные монологи третьего акта, в которых, как он признает, «ритмы обретают величественность, а слово наполняется страстью и движением»[21][22][23].

Без особого успеха «Горько, но правда» прошла и в Польше, где премьера пьесы в Варшаве, состоявшаяся 4 июня 1932 г., неожиданно закончилась крупным политическим скандалом; по настоянию присутствовавшего на спектакле польского министра внутренних дел текст последнего действия пьесы был сильно купирован, а монолог Сержанта, в котором предсказана грядущая мировая война, почти полностью изъят из постановки.\*

Летом 1932 г. началась подготовка спектакля «Горько, но правда» для Малвернского фестиваля, во время которого пьеса должна была наконец-то предстать перед английской аудиторией. Как и обычно, Шоу присутствовал на всех репетициях и вместе с режиссером Барри Джексоном руководил работой труппы. Премьера состоялась в Малверне 6 августа 1932 г. и первые зрители, судя по отзывам прессы, в общем-то благожелательно приняли комедию. Как писал после премьеры корреспондент газеты «Манчестер Гардиан» Айвор Браун, «широкая публика капитулировала перед Шоу, и, возможно, она примет эту новую порцию проповедей так же, как приняла «Тележку с яблоками», хотя в «Горько, но правда» отсутствует то тематическое единство, та легко доступная пониманию направленность сатиры, которыми отличалась ее предшественница»[24].

Несмотря на то что сам Шоу демонстративно отказался обсуждать «Горько, но правда»,1 критики без особого труда разгадали его основной замысел. По словам того же Айвора Брауна, герои пьесы — это «молодые люди, для которых не существует ничего романтичного, и в этом смысле они настоящие шовианцы. Когда говорят их «низшие инстинкты» (это цитата из Шоу), они не скрывают ни одного факта. Они обнажаются целиком, подобно загорающим на пляже. И все же за душой у них пустота. Их мир рушится, падает в небытие, они перестали романтизировать войну, ибо реальная война открыла им глаза… Но они не свободны от войны. Для них существуют лишь секс без красоты и война без идеала. Они — нигилисты, исповедующие антиромантическое кредо, но слишком ленивые для того, чтобы создать нечто позитивное…»[25][26]

Однако, по мнению большинства критиков, замысел Шоу не получил в пьесе адекватного воплощения, так как ему не удалось создать целостное драматургическое единство, где авторская мысль претворилась бы в художественную реальность. Так, один из наиболее ярых сторонников драматургии Шоу критик Дезмонд Маккарти писал в своей рецензии: «… я внимательный театральный зритель, но я не могу объяснить вам, о чем повествует пьеса, которую я только что посмотрел на Малвернском фестивале. […] В «Горько, но правда» затронуто огромное множество тем. Я перезабыл уже девять десятых из того, что мне понравилось, потому что здесь просто не на чем сосредоточиться — все разбросано в беспорядке, нет центра, куда стягивались бы все нити. Когда я сидел в своем кресле, я то и дело восклицал: «Ага, как это глубоко сказано! Об этом стоит поразмыслить». Но потом мне так и не удалось понять, к какому же выводу я (или, вернее, сам Шоу) все-таки пришел. Мне показалось, что пьеса представляет собой серию моментальных фотоснимков послевоенного состояния умов — фотоснимков, сделанных в разных ракурсах. Но общая картина этого состояния умов так и не возникла, не воплотилась в пьесе…»[27]

Обеспокоенный в целом негативными оценками критики, Шоу продолжил работу над пьесой в перерывах между спектаклями (в Малверне труппа Джексона сыграла «Горько, но правда» восемь раз) и сумел «на ходу» устранить наиболее очевидные слабости. После окончания фестиваля спектакль в течение трех недель демонстрировался в Бирмингаме, а затем был перенесен в Лондон, где 13 сентября 1932 г. им открылся театральный сезон на сцене театра «Нью». В составе исполнителей особо выделялись Седрик Хардвик (Обри), Ленора Корбет (Больная), Эллен Полок (Цыпка) и Уолтер Хад, исполнявший роль рядового Слаба и заслуживший похвалу самого Лоуренса Аравийского, портретного сходства с которым он добился[28].

Но, несмотря на все усилия драматурга и участников спектакля, критики не переменили своего резко отрицательного отношения к пьесе. Так, например, обозреватель газеты «Таймс», отмечая определенные сдвиги в лучшую сторону по сравнению с малвернс кой премьерой, утверждал, что и в лондонской постановке пьеса «Горько, но правда» все же не изменилась в главном и остается «тем, чем и была — вереницей пылающих островов в океане фарса», а журнал «Спектейтор» обвинял Шоу в том, что он беззастенчиво пользуется типично английской традицией терпимости по отношению к «глупым шуткам великих людей»[29][30][31]. «Шоу-пророк безмолвствует,— писал рецензент газеты «Манчестер Гардиан». — Как и прежде, со сцены звучит весьма велеречивая болтовня, но ей явно не хватает былой простоты и былой задиристости формулировок. Впрочем, это неудивительно, потому что Шоу уже нечего нам сказать. Как и прежде, его проповеди длинны, но в них больше нет той мощи, которая когда-то так восхищала нас. «Горько, но правда» — это и не пьеса, и не философия, а сплошное надувательство. […] Пренебрежение к законам драматургии, которое сходило Шоу с рук, когда он мог сказать нам нечто новое и важное, становится совершенно непростительным, когда его доводы теряют логику, когда померк блеск его языка, когда эпиграммы перестали разить наповал и когда повсюду видны знаки усталости и утомления…»

Нападки критиков, по-видимому, сказались на репутации «Горько, но правда» у зрителей. Лондонский спектакль очень быстро перестал давать сборы, и уже через шесть недель после премьеры, к величайшему огорчению драматурга, его пришлось снять со сцены. В интервью, данном журналу «Обсервер», С. Хардвик, исполнитель роли Обри, назвал несколько причин провала пьесы: в первую очередь, ее крайне небрежную, непродуманную композицию, а также нежелание обыкновенного зрителя выслушивать упреки и проповеди, когда он приходит в театр, чтобы развлечься и потешиться. «Не следует забывать и о том,—добавил Хардвик,—что пьеса была написана год назад. Если бы ее тогда и поставили, го она лучше соответствовала бы пессимистическим настроениям тех дней. Но теперь, когда (по крайней мере, в узком лондонском мирке) люди стали с несколько большим оптимизмом смотреть на жизнь, они не желают слушать, если им говорят, что нас ждет упадок и гибель. Обратите внимание, что в Бирмингаме — промышленном городе, еще переживающем последствия экономического кризиса, где мы гастролировали до Лондона, пьеса пользовалась колоссальным успехом. Люди там стояли в проходах на каждом спектакле»[32].

И по сей день «Горько, но правда» остается, пожалуй, одной из самых непопулярных пьес Б. Шоу: после провала спектакля 1932 г. ни один английский театр гак и не решился поставить ее во второй раз. А между тем, как справедливо заметил в 1962 г британский исследователь творчества Шоу А. Вильямсон, «она заслуживает того, чтобы ей дали вторую попытку, ибо Шоу был пророком, всегда опережавшим свое время лет этак на тридцать. […] Сейчас мы приблизились к его героям, потому что после двух мировых войн мы скорее готовы признать его правоту. Тогда он писал для немногих, главным образом для горстки интеллектуалов; теперь же — для всего нашего общества»[33].

Своего постановщика, своего театра «Горько, но правда» еще ожидает и в СССР, где эта пьеса Шоу показывалась лишь однажды, 12 июля 1933 г., труппой Первого московского рабочего театра.

Примечания

1

Стр. 596. Скотланд Ярд — управление лондонской уголовной полиции, находившееся с 1842 по 1890 г. на небольшой улице Скотланд Ярд, от которой и получило свое название

2

Красавицу-дикарку (франц.)

3

До свидания (франц.).

4

Стр. 616. …эффект получился бы больший, чем когда заговорила Валаамова ослица. — Имеется в виду библейский миф о языческом волхве Валааме, ослица которого вдруг заговорила.

5

И я тоже (франц.).

6

Скажите пожалуйста! (франц.).

7

Стр. 630. «Путь пилигрима из этого мира в мир грядущий» (1678) — произведение английского писателя Джона Беньяна. См. примеч. к с. 8.

8

Стр. 631. Двенадцать лет Бедфордской тюрьмы ему припаяли. — Сержант говорит о Беньяне, который провел двенадцать лет в тюрьме небольшого городка Бедфорда, где служил проповедником.

9

Ограбление египтян — библейское выражение. Шоу имеет в виду захватническую политику британских колонизаторов в Египте.

10

Стр. 633. …рухнул… как иерихонские стены. — Согласно библейскому мифу, неприступные стены древнего города Иерихона в Палестине рухнули от звука труб осаждавших его врагов.

11

Детерминизм — философское учение о взаимосвязи всех явлений и их причинной обусловленности.

12

Стр. 641. Офелия, иди в монастырь. — Шекспир, «Гамлет» (акт III, сц. 1).

13

Стр. 650. Медея — героиня трагедии Еврипида, убившая своих детей, чтоб отомстить бросившему ее мужу.

14

Стр. 651. Федеративное Объединение Разумных Общин — ФОРО.— Шоу имеет в виду СССР.

15

Стр. 656. День Пятидесятницы — древнееврейский религиозный праздник в честь «дарования народу закона при горе Синай»; праздновался на пятидесятый день после пасхи; у христиан - Троица.

16

К сожалению, русский перевод может только частично переда i ь смысл английского названия пьесы: “Too True to Be Good”, которое представляет собой вывернутое наизнанку языковое клише “Too good to be true” (слишком хорошо, чтобы быть правдой), т. е. означает буквально: «слишком правдиво, чтобы быть приятным».

17

Bernard Shaw Mrs. Patrick Campbell. Their correspondence, p. 295.

18

Истории взаимоотношений Шоу и Лоуренса посвящена специальная монография: Weintraub S. Private Shaw and public Shaw. A dual portait of Lawrence of Arabia and G. B. S. N. Y., 1963.

19

Цит. по: Weintraub S. Op. cit., р. 213. С. Вайнтрауб приводит также более позднее письмо Лоуренса, датированное 27 января 1932 г., где тот сообщает, что с наслаждением перечитал «Горько, но правда», и делает несколько дополнительных замечаний по тексту пьесы. См.: Ibid., р. 218 — 219.

20

См.: Ervine St. John. Bernard Shaw, p. 526.

21

Hutchens J. End of a season. Broadway in review.- Theatre Arts Monthly, 1932, N 6, p. 437-438.

22

Ibid., p. 438.

23

См. об этом: Ervine St. John. Op. cit., p. 527-528.

24

Brown I. The new Shaw play.-Manchester Guardian, 1932, 8 Aug., p. 9.

25

См. краткое сообщение об этом: Manchester Guardian, 1932, 8 Aug., р. 10.

26

Brown I. Op. cit., p. 10.

27

Цит. no: MacCarthy D. Shaw. London., 1951, p. 190.

28

См.: Weintraub S. Op. cit., p. 224 — 225.

29

The Times, 1932, 14 Sept., р. 8.

30

Weintraub S. Op. cit., p. 226.

31

The Manchester Guardian, 1932, 18 Oct., p. 11

32

Цит. no: Weintraub S. Op. cit., p. 229.

33

Williamson A. В Shaw: Man and writer London, 1963, p. 201-202.